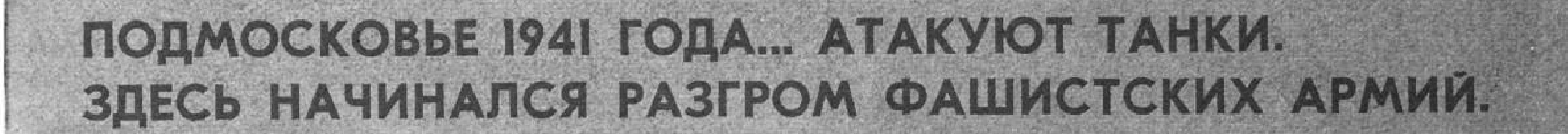

СВОБОДА
БРАТСТВО
РАВЕНСТВО





ПОДМОСКОВЬЕ 1941 ГОДА... АТАКУЮТ ТАНКИ. ЗДЕСЬ НАЧИНАЛСЯ РАЗГРОМ ФАШИСТСКИХ АРМИЙ.

Фото А. УСТИНОВА.

ОГОНЁК

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 49 (2058)

44-й год издания

4 ДЕКАБРЯ 1966



28 ноября в Будапеште начал свою работу IX съезд Венгерской социалистической рабочей партии. В нем принимают участие лучшие сыны и дочери венгерского народа, представляющие 585 тысяч коммунистов. Вступительное слово произнес член Политбюро ЦК ВСРП, председатель Революционного рабоче-крестьянского правительства ВНР Дьюла Каллаи.

Делегаты съезда горячо приветствовали посланцев братских партий: делегацию КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, партийные делегации братских социалистических стран, представителей коммунистических и рабочих партий из многих капиталистических стран.

В повестке дня съезда — отчет ЦК ВСРП, изменения в Уставе ВСРП, выборы центральных руководящих органов партии и другие вопросы.

С отчетным докладом ЦК ВСРП выступил Первый секретарь ЦК ВСРП товарищ Янош Кадар. Заканчивая доклад, товарищ Кадар сказал: «Международный рабочий класс, мировая система социализма, всемирное коммунистическое движение черпали и черпают непобедимость в интернационализме. Революционная партия венгерского рабочего класса, верная учению марксизма-ленинизма, всегда была верна идеям интернационализма, единства. Так будет и впредь».

На вечернем заседании 29 октября с речью выступил глава делегации Коммунистической партии Советского Союза Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Под бурные аплодисменты Л. И. Брежнев передал съезду приветствие Центрального Комитета КПСС.

На снимке: в президиуме IX съезда Венгерской социалистической рабочей партии.

Телефото МТИ — ТАСС.

●

1 декабря в Париж с официальным визитом прибыл Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин.

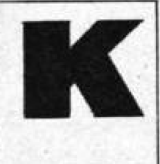
На снимке: слева направо — А. Н. Косыгин, Премьер-Министр Франции Ж. Помпиду и Президент Франции генерал Ш. де Голль на аэродроме Орли.

Телефото специального корреспондента ТАСС В. Соболева.



В Е

В. Д. СОКОЛОВСКИЙ,
Маршал Советского Союза,
бывший начальник штаба Западного фронта



Как известно, свое последнее генеральное наступление на Москву немецко-фашистские войска начали 15—16 ноября сорок первого года. Первый мощный удар они нанесли по обороне 30-й армии (генерала Д. Д. Лелюшенко) Калининского фронта. Против этой армии противник бросил в бой более 300 танков, в то время, как наши войска располагали здесь всего 56 танками. Оборону 30-й армии врагу удалось прорвать, и его танковые соединения стремительно ринулись к Клину.

Через несколько часов началось наступление немцев и на Волоколамском направлении, где оборонялись войска 16-й армии (командующий генерал К. К. Рокоссовский). Здесь на наши боевые порядки шло танков еще больше — примерно 400, а наши войска располагали всего 150 легкими и средними танками.

Я не буду рассказывать, как шло это тяжелейшее для нас сражение. Отмечу только, что, несмотря на небывалое в истории войн, поистине героическое сопротивление наших солдат и командиров, в первые дни этого своего наступления враг продвигался сравнительно быстро — по два десятка километров в сутки. Так, однако, продолжалось недолго. Наши войска с необыкновенным упорством отстаивали каждую пядь земли, стойко держались на каждом новом рубеже обороны, которые покидали лишь в случае крайней необходимости. И враг постепенно терял силы. Многие и многие тысячи гитлеровцев навсегда остались лежать в заснеженных подмосковных полях, и пути наступающих были завалены целыми баррикадами разбитых и сожженных танков, бронетранспортеров, автомашин, орудий.

Тогдашний начальник генштаба сухопутных войск гитлеровской армии генерал Гальдер оценил потери в живой силе за эти дни в 135 тысяч. Сами немецкие генералы были ошеломлены такими колоссальными потерями и нарастающим сопротивлением советских войск. Начальник штаба 4-й армии генерал Блюментрит признал: «Когда мы вплотную подошли к Москве, настроение наших командиров и войск вдруг резко изменилось. С удивлением и разочарованием мы обнаружили, что... разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила».

И если в первые дни наступления гитлеровцы продвигались, выражаясь фигурально, почти бегом, то вскоре перешли на шаг, потом поползли... Они выдохлись.

Наиболее здравомыслящие и осторожные из гитлеровских генералов подали голос за то, чтобы прекратить наступление. Например, командующий 4-й армией генерал-фельдмаршал фон Клюге, докладывая о больших потерях в его армии и о пессимистическом тоне солдатских писем, предложил перенести наступление на весну.

Однако ОКХ (главное командование немецких сухопутных сил) и командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок не желали признать провала своего наступления.

С наблюдательных пунктов гитлеровские офицеры уже могли разглядеть Москву невооруженным глазом. Казалось, еще одно усилие, и Москва будет окружена, а затем стерта с лица земли — таково было решение Гитлера.

Около захваченного немецкими войсками подмосковного местечка Красная Поляна вражеские артиллеристы срочно устанавливали сверхтяжелые орудия. Эти потомки «Большой Берты», которая в империалистическую войну вела огонь по Парижу, должны были первыми начать осуществление варварского плана фашистского фюрера. Но этого не случилось. Кажется, 28 ноября в штабе Западного фронта раздался телефонный звонок. Чей-то взволнованный голос сообщил, что под Красной Поляной враг оборудует артиллерийские позиции и подвозит орудия небывалой величины. Мы сразу поняли, что это означает. Начальник артиллерии фронта генерал И. П. Камера по-

ЛИКАЯ

БИТВА

лучил приказ накрыть огнем советских батарей позиции сверхтяжелых орудий. В район Красной Поляны была брошена бомбардировочная авиация. И потомки «Большой Берты» перестали существовать, не совершив ни единого выстрела.

К сожалению, узнать имя патриота, который позвонил в штаб, так и не удалось.

Трудно сказать, что именно — безрассудность или самомнение, порожденное стремительными победами в Западной Европе, не позволило немецкому командованию трезво оценить обстановку. Ясно одно: даже накануне начала нашего контрнаступления фашисты не оставляли надежды захватить Москву.

29 и 30 ноября гитлеровский «танковый» генерал Гудериан вел переговоры с командующим 4-й армией фон Клюге. Они разрабатывали общий план прорыва к Москве с юго-запада. Примерно такие же планы разрабатывались и в штабах других немецких армий. Гитлеровцы еще не знали, что эти планы не сбудутся, что незначительные продвижения, которых они добились на отдельных участках фронта, будут их последними успехами под Москвой.

Они не ждали да и просто не представляли себе, что Красная Армия сможет нанести сколько-нибудь значительный, даже локальный контрудар, не говоря уж о контрнаступлении на тысячекилометровом фронте.

В тот же день, когда Гудериан совещался с Клюге, по другую сторону передовой, у нас, в штабе Западного фронта, шла напряженная работа. За одни сутки мы разработали план контрнаступления. Обстановка в штабе в тот день внешне мало чем отличалась от обычной, если, конечно, можно назвать обычной работу в период крупнейшего в истории сражения. Штабные командиры давно уже потеряли счет дням и ночам, отданным тяжелому труду войны.

Штабная жизнь не затихала ни на минуту. Люди отдыхали по полчаса, по часу в сутки. В это время их подменяли товарищи.

Полуторачасовой сон считался непозволительной роскошью.

Многое нужно было разрешить и основательно проработать, прежде чем определить места развертывания резервных армий, направления ударов, артиллерийское и авиационное обеспечение, подготовить и разрешить сложнейшие вопросы снабжения войск. Сотни материалов — данных разведки, боевых донесений — приходилось тщательно обрабатывать, сопоставлять, выбирать в них самое важное, отбрасывать сомнительное, прежде чем найти верное решение.

Наконец, главное заключалось в том, чтобы верно определить время начала наступления; его требовалось назначить именно на тот момент, когда немецкие войска полностью выдохнутся и исчерпают свои наступательные возможности и в то же время не успеют еще перейти к обороне...

29 ноября командование Западного фронта доложило свои предложения в Ставку. 30 ноября утвержденный план пришел к нам. Срок начала наступления — 5—6 декабря,— как показали дальнейшие события, был назначен правильно.

Подготовка контрнаступления шла параллельно с неотложным оперативным руководством войсками, отбивавшими атаки противника. Когда Ставка рассматривала наш план контрнаступления, фашистское командование группы армий «Центр» предприняло отчаянную попытку прорваться к Москве. Генерал Рейнгарт рвался к Москве со стороны Красной Поляны и Крюкова. Генерал Гопнер совместно с 4-й армией еще лелеял надежду добраться до Москвы с запада. И кое-где фашистам удалось потеснить наш фронт. Это было 1 декабря. Но 2 декабря части 20-й и 16-й армий отразили все вражеские атаки.

Правда, утром 2 декабря враг нанес удар в центре Западного фронта в направлении Голицыно.

Усиленный немецкий полк прорвался к Перхушкову, где находился наш штаб. Однако охрана штаба во главе с комендантом отбила атаку противника, а подоспевшие подразделения отбросили противника на исходные позиции.

В те дни пулеметный и даже автоматный обстрел штаба фронта был нередким явлением.

Как бы ни продвигались войска противника, штаб оставался на месте. Это укрепляло уверенность наших бойцов и командиров в том, что Москва не будет отдана врагу. Да и могли ли мы придавать серьезное значение тому, что штаб обстреливают из пулемета, когда даже Ставка была в пределах досягаемости артиллерийского огня?

В самые напряженные дни ноября по указанию Государственного Комитета Обороны неподалеку от столицы начали сосредоточиваться три резервных армии. Немецкое командование к тому времени уже исчерпало резервы, самоотверженная борьба наших войск у Тихвина и на юге у Ростова не позволяла им перебросить к Москве войска с этих направлений.

В контрнаступлении под Москвой должны были принять участие войска трех фронтов — Калининского, Западного и Юго-Западного. Главный удар должен был быть нанесен нашим, Западным фронтом. Наступление предполагалось начать без какой-либо паузы и перегруппировки войск, то есть двинуться вперед теми частями, которые до той поры вели оборонительные бои, усилив их за счет резервов.

Такой план диктовался главным образом недостатком сил, средств и времени на перегруппировки. Для успеха контрнаступления надо было обрушить на противника все, чем мы располагали. И сделать это совершенно неожиданно. Мы должны были только за счет умелого маневрирования создавать хотя бы небольшой перевес в силах на направлениях главных ударов. К тому времени у нас был уже богатый опыт подобного рода оперативной работы. В критические дни обороны штабу Западного фронта приходилось маневрировать не только армиями и дивизиями, но и ротами и даже взводами. Самые мелкие боевые подразделения были на учете, и это во многом обеспечило успех дела и в обороне и в наступлении.

Перед началом контрнаступления Западный фронт располагал весьма скромными силами. Даже с учетом трех резервных армий соотношение сил на московском направлении оставалось в пользу противника. В людях немецкие войска превосходили наши в 1,1 раза, в артиллерии — в 1,8 раза, в танках — в 1,4 раза. Правда, у нас было в значительной степени больше авиации, но преимущество в этом отношении было лишь количественным, так как в нашем авиационном парке солидное место занимали самолеты устаревших марок.

Буржуазные историки и бывшие гитлеровские генералы после Московской битвы, да и сейчас пытаются объяснить разгром своих армий у стен советской столицы чуть ли не десятикратным превосходством сил со стороны советских войск. Это попытка с негодными средствами как-то оправдать провал своего наступления на Москву. Будь у нас тогда не десятикратное, а гораздо меньшее превосходство в силах и средствах, мы бы действовали иначе и результаты были бы куда более значительными.

Но соотношение сил в пользу противника было не единственной трудностью в нашем контрнаступлении. Советские войска ощущали тогда острый недостаток в вооружении и боеприпасах. Перестройка народного хозяйства на военные рельсы далеко не была завершена. Многие оборонные предприятия, эвакуированные на восток из западных областей, еще не начали работу на новом месте. У нас был весьма строгий лимит на самое необходимое.

Почти на всех московских заводах склады готовой продукции пу-



Кремль в зарницах зенитного огня. Много вражеских самолетов было сбито над Москвой.
Ноябрь 1941 года.



Конники генерала Белова атакуют южнее Каширы.
Фото О. Кнорринга. 1941 год.



стовали. Снаряды прямо от станков, можно сказать, еще тепленькие, отправлялись на передовые позиции. Московская партийная организация мобилизовала все силы, средства и ресурсы Москвы и области, а москвичи не жалели ничего для отпора врагу.

Отчаянное положение создалось с транспортом, и тогда во всех армиях Западного фронта в срочном порядке были организованы гужевые батальоны — по 550 повозок или саней в каждом.

Такова была обстановка, когда 5—6 декабря 1941 года наши войска начали контрнаступление.

1-я ударная, 10-я, 20-я армии вошли в состав Западного фронта. Они подъезжали и подходили с востока и быстро занимали указанные им позиции. И вот наконец час наступления настал.

Конечно, военный не должен терять присутствия духа ни при каких обстоятельствах. Он должен быть хладнокровным в дни неудач и не позволять себе чрезмерных эмоций, когда начинает вырисовываться успех.

Но в тот час, когда долгожданный приказ о начале контрнаступления был наконец отдан, в штабе фронта воцарилась неописуемо радостная обстановка. И хотя все мои товарищи по штабу донельзя устали от бессонницы и напряжения многосуточного оборонительного сражения,— в их взглядах, жестах, движениях ощущался необыкновенный подъем. Еще бы! Наконец наступаем! Враг откатывается и бежит!..

Наступление на северо-западе от Москвы, на правом фланге фронта, привело к разгрому основных сил 3-й и 4-й фашистских танковых армий. Было освобождено свыше 500 населенных пунктов. Одновременно успех сопутствовал нам в районе Тулы и в районе Ельца. Успешное продвижение через Оку к Калуге и Белеву давало возможность окружить и довести до конца разгром группы армий «Центр». Но, к сожалению, эта возможность не стала действительностью. Силы наступающих были на исходе. Еще острее, чем прежде, встала проблема транспорта; так как гужевые батальоны не успевали за наступающими частями, обеспечение боеприпасами шло с перебоями.

Но, несмотря на все эти трудности, продвижение советских войск не прекращалось. Наступление шло на фронте протяженностью почти в тысячу километров. Каждый день страну облетали радостные сводки Совинформбюро с перечислением отвоеванных деревень и городов.

Бои завязались уже за Клин. Это был очень твердый орешек. Фашисты во что бы то ни стало решили задержать здесь наше наступление, стянули сюда много техники, окружили город различными укреплениями и минными полями. Ставка торопила нас, каждый день по телефону звучал вопрос: «Как Клин? До сих пор не взят?» Мы объясняли, что Клин с ходу взять невозможно, что все идет по плану. Наконец на очередной вопрос Г. К. Жуков ответил:

— Клин взяли!

Гитлеровцы, зажатые с двух сторон, бежали из города, бросая технику, обозы с боеприпасами и тысячи трупов. Сразу же после окончания боя за Клин сюда приехал министр иностранных дел Великобри-

Демократическая Республика Вьетнам — страна-воин, страна-герой. На нашем снимке — бойцы отряда самообороны рисоочистительного завода близ Ханоя. Как каждый вьетнамец, они всегда готовы отразить нападение коварного и злобного врага, посягнувшего на их мирный труд.





Неонацизм в Западной Германии поднимает голову все выше. Последние успехи национал-демократической партии на выборах в ландтаги Гессена и Баварии заставляют честных немцев вспомнить о черных днях фашизма. И это воспоминание выводит их на демонстрации протеста против новой фашистской угрозы. Здесь изображена манифестация молодежи Мюнхена. На плакатах — осуждение неонацизма, призыв к бдительности.

В Центральном Доме Советской Армии состоялась научно-теоретическая конференция, посвященная 25-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

На снимке: в зале заседаний конференции.



Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА.

тании Иден. Клинский пейзаж произвел на него большое впечатление. Он не ожидал увидеть такого. Он, видимо, не так представлял себе Россию и ее армию; ему нужно было разобраться, понять и увидеть собственными глазами, что же произошло под Москвой.

И надо сказать, что визит Идена, как и визиты других деятелей США и Англии, был не праздным любопытством. Для наших союзников наступление под Москвой представлялось тоже событием невероятным, они не верили в возможность такого поворота в ходе войны и не спешили по этой причине выполнять свои союзнические обязательства. Несмотря на достигнутое соглашение, помощь США Советскому Союзу в конце 1941 года составила 0,1 процента от запланированной суммы. И вдруг такой поворот...

А произошло событие, которое имело громадное стратегическое, политическое и историческое значение. Фашисты были отброшены на 150—400 километров. Гитлеровская военная машина, гитлеровские войска потерпели крупнейшее поражение. Под Москвой Германия потеряла 38 дивизий, в том числе 11 танковых, 4 моторизованные и 23 пехотные. Остальные дивизии были измотаны и обескровлены. Из четырех танковых армий разгромлены три. Шесть армий группы «Центр» утратили примерно 80 процентов своей артиллерии, танков, автотранспорта и другой техники. Около полумиллиона солдат и офицеров нашли свою могилу на полях Подмосковья. Был развеян миф о непобедимости немецко-фашистских войск. Похоронен план «блицкрига» — молниеносной войны. Наконец, это поражение было первым поражением немецко-фашистских войск во второй мировой войне.

Это была великая победа Красной Армии, всего советского народа. Для многих она была полной неожиданностью. Как могла Красная Армия, выдержав ожесточенные бои у своей столицы, нанести затем такое крупное поражение гитлеровским войскам? Многие не понимают этого и поныне, вернее, не хотят понимать. Недобитые фашистские генералы берут себе в оправдание жестокую зиму 1941—1942 года. Подобные доводы — вздор. Не гитлеровцам, а советским войскам мешала снежная и морозная зима сорок первого года. Наши солдаты шли в атаки по пояс в снегу. Фашисты же создавали свои опорные пункты в деревнях и поселках, которых так много в Подмосковье, а отступая, выжигали за собой все, лишая возможности наступающих обогреться под крышей.

Нет, не русский мороз победил «непобедимую» армию Гитлера, а советский народ. Тяжелой была эта победа, она выкована трудом миллионов людей в тылу и завоевана тысячами жизней известных и неизвестных героев в ожесточенных сражениях у стен столицы нашей Родины. И не поняли этой «московской загадки сорок первого года» буржуазные историки потому, что выпустили из своего скрупулезного военного анализа важные факторы — преданность советского народа своей Родине, его неколебимую верность Коммунистической партии и завоеваниям Великой Октябрьской революции.

Розмари Кистлер, американка из города Франклин, снова стала вдовой. Ее муж, лейтенант американской армии, погиб в Южном Вьетнаме. Двадцать два месяца назад ее первый муж, лейтенант Вильям Рич, тоже сложил свою голову на вьетнамской земле. ▶



По дороге в Чили, на конференцию Международной авиационной федерации (ФАИ), встретились советский космонавт Алексей Леонов и вдова знаменитого французского пилота и писателя Антуана Сент-Экзюпери Консуэло де Сент-Экзюпери.



Фото ТАСС, ЮПИ, газеты «Юманите».



«BIENVENU!» — «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»

Залами одноэтажного помпезного отеля «Крийон», построенного в XVIII веке на парижской площади Согласия, в эти дни завладели журналисты. Здесь можно встретить сейчас представителей любых французских газет. Сюда приходят обменяться последними новостями о визите во Францию Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, в специально оборудованном пресс-зале назначаются встречи, здесь же берут интервью. В отеле размещается часть советской делегации, специальные корреспонденты советской прессы, радио и телевидения.

Я передаю эти строки из отеля «Крийон». Остаются считанные часы до того момента, как в парижском аэропорту Орли приземлится самолет, который доставит во Францию главу Советского правительства, прибывающего сюда с официальным визитом по приглашению генерала де Голля.

На обширном поле аэропорта установлены артиллерийские батареи. Торжественный салют возвестит о начале важной франко-советской встречи. Французские власти разработали такой церемониал встречи высокого гостя, который применяется обычно лишь при визитах во Францию глав государств. В парижских газетах отметили, что это решение французского Совета Министров является особым признаком уважения к великой дружественной стране и ее руководителям. Особый церемониал встречи и внимание, уделяемое визиту А. Н. Косыгина, свидетельствуют, по мнению парижской газеты «Фигаро», что «этому событию придают масштабы, соответствующие новой политике Франции в отношении стран Востока».

Каково же мнение французов по поводу визита главы Советского правительства во Францию? Я взял интервью у некоторых политических деятелей страны, принадлежащих к различным политическим партиям. Вот эти заявления.

РАЙМОН ШМИТЛЕН, вице-президент Национального собрания Франции, член партии «Союз в защиту новой республики» (ЮНР).

— Этот визит является доказательством того, что программа франко-советского сотрудничества, намеченная совместной декларацией, которая была подписана во время поездки в Москву генерала де Голля, претворяется в жизнь. Франция и Советский Союз, как мы видим, начали осуществлять регулярные консультации в целях укрепления взаимного доверия и расширения области согласия и сотрудничества. Это станет совершенно обычным, если мы вспомним, что за визитом господина Косыгина последуют визиты видных советских руководителей — Подгорного и Брежнева. Мы очень рады этому франко-советскому сближению.

АНДРЕ БЛЮМЕЛЬ, адвокат, член муниципального совета Парижа.

— Состоявшаяся несколько месяцев тому назад поездка генерала де Голля в Советский Союз вызвала оживленные отклики как в Советском Союзе, так и во Франции. С того времени между нашими двумя странами были заключены соглашения в области экономики, науки и техники. Французское общественное мнение ждет теперь от визита во Францию господина Косыгина увеличения масштабов сотрудничества, в том числе в политической области.

КЛОД ФЮЗЬЕ, член бюро французской социалистической партии (СФИО).

— Франция и Советский Союз являются государствами с различными политическими и экономическими системами. Все, что может помочь расширению сотрудничества этих систем, соответствует интересам мира. Я хорошо знаю, что новая мировая война была бы ужасной, и помышлять о такой войне немыслимо для любого здравомыслящего человека. Вот почему встречи и беседы между государственными деятелями Запада и Востока являются весьма положительным фактом.

РОЛАН ЛЕРУА, член Политбюро Французской коммунистической партии.

— Французские трудящиеся, составляющие большинство населения страны, самую деятельную его часть, относятся с наибольшим интересом к сближению Франции и Советского Союза, происшедшему в последнее время. Французские труженики рады тому, что Франция и Советский Союз стремятся к сближению своих точек зрения в области политики, что развивается экономическое, научно-техническое, культурное сотрудничество. Трудящиеся Франции с большой радостью ожидают приезда Председателя Косыгина в нашу страну.

Когда читатели возьмут в руки этот номер журнала, в Париже уже пройдут многочисленные беседы и встречи товарища А. Н. Косыгина с генералом де Голлем и другими французскими руководителями, с парламентариями, с многочисленными друзьями Советской страны, которых объединяет во Франции общество «Франция — СССР».

В понедельник, 5 декабря, Председатель Совета Министров СССР начнет поездку по стране. Товарищ Косыгин посетит Тулузу, Лион, промышленные предприятия этих городов, встретится с представителями различных кругов, посетит центр ядерных исследований в Гренобле. В конце визита товарищ Косыгин проведет день в Рамбуйе, загородной резиденции Президента Французской республики, где состоятся новые беседы с генералом де Голлем по всем интересующим обе страны вопросам.

Парижские газеты в связи с визитом товарища Косыгина напоминают и о предстоящих поездках во Францию Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и Председателя Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорного.

Совместная франко-советская декларация, подписанная в Москве прошедшим летом в период визита генерала де Голля в СССР, вступила в действие.

А. ПОТАПОВ

Париж, по телефону.





ЮНОСТЬ СОРМОВА

Кто эти молодые люди, которых вы видите на первой странице обложки?

На работу они ходят по улице, про которую пели когда-то: «Сормовска больша дорога вся слезами залита...» По этой дороге ходили на завод и прадеды и деды Рудольфа Корнишина, технолога арматурного цеха.

Корнишин совсем недавно на этой должности. Только-только овладел специальностью технолога, о которой производственники весьма высокого мнения и иногда именуют эту работу довольно высокопарно «разработки технологического штаба». Так что Рудольф — начинающий «офицер» этого штаба. Румянец застенчивого парнишки предательски выдает его молодость, как ни старается он казаться солидным. Впрочем, у него немалый «солдатский» стаж, а кроме того, четыре года работы слесарем в судомеханическом цехе, где почти уже 40 лет трудится его отец Петр Николаевич.

Секретарь комсомольской организации арматурного цеха Нина Кошелева — девушка в больших очках, похожая больше на студентку, чем на токаря,— обстоятельно перечисляет положительные качества Рудольфа. И, видимо, по ученической привычке загибает пальцы на руке: трудолюбие — раз, скромность — два, учится на третьем курсе машиностроительного техникума — три...

А сама Нина пришла на производство сразу же после окончания средней школы и в нынешнем году защитила диплом в техникуме на довольно трудную тему «Проект участка механического цеха для обработки деталей корпуса подшипников». Но девушка не видит в этом ничего особенного.

— Что ж тут такого? У нас все учатся. Вот Галина Холодилова была токарем, окончила техникум, стала сменным мастером.

Галина легка на помине. Широколицая, крупная, она стремительно ввалилась в тесную конторку старшего мастера Плеснова и сунула ему только что сделанную деталь.

— Что же, Изосим Михайлович, если по такому методу будем вытачивать, так работы хватит до морковкина, заговенья...

Этот сугубо технологический разговор начинается на высоких нотах, потом постепенно переходит в более спокойные тона. А в конце концов Нина уходит умиротворенная.

— Суровая девушка,— улыбается Изосим Михайлович.

— Она у нас артистка. В драматическом коллективе Дворца культуры. Не Стрепетова, конечно, но играет с душой,— поясняет Нина Кошелева.— В самодеятельности много комсомольцев. Есть и певцы. Самая голосистая — Валя Юрова.

Токарь Валя Юрова, девушка небольшого роста с кокетливой челкой, пользуется у зрителей успехом. Были недавно комсомольцы-сормовичи в подшефном колхозе, давали концерт.

Самый молодой в цехе — Саша Черняев. 17 лет недавно стукнуло. Первый год здесь, но уже слывет хорошим рабочим. Имеет третий производственный разряд. Учится в 10-м классе школы рабочей молодежи. Страсть его — художественная литература. Сашин формуляр в библиотеке распух до размеров небольшой книги. Любит он поделиться с товарищами тем, что узнает из книг, огорошить их, по его мнению, чем-то неожиданным:

— Знаете, в Индонезии 200 языков и наречий...

— Знаете, художник Репин писал центрального казака в своих «Запорожцах» с писателя Гиляровского.

Таких сообщений у Саши, как у ежа иголок...

Совсем недавно провожал цех в армию Сашу Шабашова.

— Будет он хорошим солдатом,— убежденно говорит Нина Кошелева.— Он у нас и комсомольцем был активным и слесарем знающим. А как отслужит, опять к нам вернется, от сормовской земли оторваться трудно...

В коллективе арматурного цеха — 100 комсомольцев. А всего на заводе «Красное Сормово» их около четырех тысяч.

...Вот они идут, молодые сормовичи, на работу, по дороге, когда-то политой слезами. Юность Сормова идет!

Виктор **МАЛАФЕЕВ**



Н. Жуков и В. Климашин. ОТСТОИМ МОСКВУ! Плакат 1941 года.

Бойцы народного ополчения. Москва, октябрь 1941 года.

Фото А. УСТИНОВА.

Мирзо ТУРСУН-ЗАДЕ

Моя река



* * *

Другим стал мир, моя река,
А ты все та же, та же,
И не узнаешь кишлака,
А ты все та же, та же.

И дожил я до седины,
А ты все та же, та же.
И начал век облет Луны,
А ты все та же, та же.

Ладью ночей качать слегка ты не устала,
И снова в звездах ты, пока заря не встала.
И, облачаясь в облака, ты, как бывало,
В горах о скалы рвать бока не перестала.

Хмельной верблюдице под стать свернешь
куда-то,
Каскады брызг швырнув опять на камень
ската.
Не привыкать тебе бывать в крови заката,
И ты готова саблей стать для азиата.

Как хорошо рассвет встречать с тобою рядом,
В объятьях женщину держать, лаская
взглядом.
В траве с друзьями возлежать над водопадом
И все досады забывать назло досадам.

Беря со снежной высоты свое начало,
Слезы младенца чище ты, острей кинжала.
И схожи с седлами мосты, чтоб ты являла
Тех кобылиц лихих черты, каких немало.

Не ты ли логову песка, волной играя,
Придать отважилась, река, обличье рая?
Моей строке судьба близка родного края,
Желаю, дочка ледника, тебе добра я.

Склонил колени пред тобой,
Все та же ты, все та же.
И схож прибой твой с ворожбой,
Все та же ты, все та же.

В поток твой сердце оброня,
Смотрю и вижу в свете дня:
Все та же ты, все та же,
Течешь, не слушая меня,
Все та же ты, все та же.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЖЕНЩИНА

Шторм на море, волны бьют в набат,—
Это дело солнца, говорят.
Хлещут ливни третий день подряд,—
Это дело солнца, говорят.

Дует ветер в рог осатанело,
Снег метет вдоль отчего предела,
Иль по крышам барабанит град,—
Это дело солнца, говорят.

Время суток. Смена тьмы и света —
Солнцем установленный черед —
Это небо голубого цвета
Или черный в звездах небосвод.

Все от солнца: и зима и лето,
Ласточек отлет или прилет,
По орбите солнечной планета
Совершает свой круговорот.

Все от солнца: в красных шапках клевер
И в ожогах желтые луга,
Коронованный сияньем север
И в дождинках радуга-дуга.

Хоть порою солнце бессердечно,
Говорим:
— Пусть солнце будет вечно!
И давно подмечено одно,
Что подобно женщине оно.

Женщина ласкает, если любит,
А когда не любит, то она
Опаляет, мучает и губит,
Огненности солнечной полна.

То платком, как облаком, стыдливо
Укрывает ясное лицо,
То лукаво, гордо и смешливо
В нас бросает красное словцо.

То в душе она надежду будит,
То пронзает дуновеньем льда.
Говорю с любовью я:
— Пусть будет
Солнечная женщина всегда!

ГОРЯЧИЙ СКАКУН МОЙ ПУРПУРОВОЙ МАСТИ

Хвала тебе, сердце!
За то, что не худо
Свой долг исполняешь, багровое чудо,
За то, что, печали и радость приемля,
Дать первый звонок не спешишь ты покуда.

Не зная покоя, пылая бездымно,
Со временем связано ты неразрывно,
Для азбучных истин и таинства жизни
Себя распахнувшее гостеприимно.

Молю: не сдавайся, гори, как горело,
Созвучного жизни не кончил я дела,
И недоцелована женщина мною,
И не обошел я земного предела.

Молю: уклонись от опасной развязки,
Чтоб мог я любимой всю ночь без опаски
Слова сумасшедшие вновь до рассвета
Шептать по твоей небезгрешной подсказке.

Молю: потерпи, хоть тебя я не холю,
Чтоб мог на людей наглядеться я вволю,
Чтоб мог нагуляться по белому снегу,
А пуще того — по зеленому полю.

Держись, караванщик, клянусь, еще рано
Тебе останавливать ход каравана.
Успею я в саван всегда облачиться,
Милей мне дорожный халат из тумана.

Молю: не разбейся, подлунное чудо,
Ведь ты не подобье простого сосуда.
Молю: обойдись без закатного звона,
Ты не колокольчик на шее верблюда.

Горячий скакун мой пурпуровой масти,
Подольше скачи, замирая от страсти,
Лети, высекая червленые искры,
Как всадник невечный, я весь в твоей власти.

НЕЙТРАЛЬНО

Нейтрально вступает в Женеву рассвет,
Нейтрально подсвечен им каждый предмет.
Нейтрально асфальт и умыт и пригрет,
Нейтрально открыты страницы газет.

Вознес свою руку Монблан в высоту,
Чтоб небо держать вертикально.
Того, кто умеет ценить красоту,
Пленит он как будто нейтрально.

А вечером тонкая всходит луна,
И озеро блещет кристально.
И в сумерках птицы парят допоздна,
Звенят голоса их нейтрально.

Альпийские горы в снегу и в листве
Стоят под луной не опально,
Соседним столицам и дальней молве
От века внимая нейтрально.

Владыкою улиц становится сон,
Сливаются губы прощально.
Ах, кто это выдумал грустный закон,
Что спать надо ночью нейтрально?

Расстаться влюбленные вновь не хотят,
И время стоит беспечально.
Ничто на свиданьи: ни слово, ни взгляд —
В любви не бывает нейтрально.

СТУК КАБЛУЧКОВ

Пал не дождь с облачков —
слышу стук каблучков,
Вылетаю на звук каблучков.
И, как след светлячков, вижу след каблучков,
Значит, ты, дорогая, прошла.

Глянул я в вышину, словно стало светать,
Ожил город в плену у зрачков.
Если стук каблучков стуку сердца под стать,
Значит, ты, дорогая прошла.

Ты мила и стройна, и текут по спине
Ровно сорок, как смоль, родничков.
Слышу стук каблучков и сгораю в огне,
Значит, ты, дорогая, прошла.

Мир такие, как ты, добротою дарят,
Знаю я не в числе новичков:
Там с обоих бочков заалеет гранат,
Где уронишь ты стук каблучков.

СОЖАЛЕНИЕ

Караван нашей любви идет трудным путем.

Саади

От легкой жизни я не без причины
Хотел бежать, об этом знаешь ты,
Хотел потоком ринуться с вершины
Или в предел альпийской высоты
Из каменной пробиться сердцевины.

Я знал одно: недолговечна веха,
Воздвигнутая легкостью успеха.

Когда смотрел в глаза твои влюбленно,
Две звездочки сорвать я с небосклона
Хотел, чтоб сделать серьги для тебя,
И от любви погибнуть обреченно,
И возродиться заново, любя.

Свиданье переходит в бесконечность,
Когда сердечность обретает вечность.

Любви начало не должно быть торным,
Путь к женщине захватывает дух,
Когда он сходен с восхожденьем горным,
И сердце бьется, как во прахе черном
Из-под ножа взметнувшийся петух.

Такой любви хотел я, чтоб она
Казалась смутой и не знала сна.

Жаль, не был я тобой испытан в этом,
Красноречивым стал бы мой язык,
И караван любви пред белым светом
Повел бы я тогда путем воспетым,
На дне зрачков твой отражая лик.

И сердце — колокольчик каравана
Грустит о том, кровоточа, как рана.

МАТЬ

Не помню я, осиротевший рано,
Обличия земного твоего,
Ни цвета глаз, ни очертаний стана,
Ни грусти, ни улыбки — ничего.

Твой след ищу, как в мареве тумана,
А где найти — не ведаю того.

Черты твои какими в жизни были?
Об этом я расспрашивал старух,
И камень на кладбищенской могиле,
Листву и травы, обратив к ним слух.

Мне старица рекла, что ты имела
С лепешкой смуглой схожее лицо,
Что родинка у края губ темнела
И гибок стан был, словно деревцо.

Поведала другая из крестьянок:
— Мы дважды в день коров доили с ней.
— Ко мне она являлась спозаранок
Умыть лицо,— пролепетал ручей.

Гора сказала:— С облаком бок о бок
Мой склон не раз мотыжила она.
— Носила платье,—
похвалился хлопок,—
Из моего простого волокна.

Вздохнул репей:
— Жестоких ран немало
Ее ногам я наносил в траве.
Пропел родник:
— Шла по воду, бывало,
Она, держа кувшин на голове.

Призналась туча:
— Солоней, я помню,
Всех слез моих была ее слеза.
И молвил гром:
— Она пугалась молний,
В грозу боялась поднимать глаза.

Перед двумя властителями духа,
Чьи имена адат и шариат,
Была ты, мать, как пригоршня пуха,
Беспомощна всю жизнь свою подряд.

И прятала лицо в платок узорный,
И пред муллою твой немел язык.
Увенчанный стихом,
нерукотворный,
Тебе я в сердце памятник воздвиг.

Поток реки, подобный сабле голой,
И отчего гнезда любую пядь,
И флаг тюльпаноогненный над школой
Люблю, как ты мне завещала, мать.

Пусть голос твой, преодолев забвенье,
В моей строке звучит, пока живу.
Вновь пожилую женщину селенья
Я матерью при встрече назову.

ЛОЗА И ЗЕМЛЯ

Стал садовник обрезать молодые лозы,
Набегали горько их сахарные слезы.
Сердце матери-земли сжалось поневоле,
По корням к нему дошло ощущенье боли.

Льется вешнее тепло вдаль под небосклоном,
Корни черные прожгло пламенем зеленым.
Буйство жизни обрели лозы винограда,
В сердце матери-земли гордость и отрада.

Перевел с таджикского
Я. Козловский.

Конкурс читателей:

БРАТЬЯ НАВЕКИ





БРАТЯ ЗАВИНАГИ



ИСТОРИЯ ДВУХ ФОТОГРАФИЙ

ПОД ЗВЕЗДАМИ БАЛКАНСКИМИ

В бурные сентябрьские дни 1944 года, когда наши войска вошли в болгарскую столицу, я был свидетелем незабываемой картины — встречи наших воинов с болгарским партизанским отрядом имени Чавдара. Несколько лет действовали эти партизаны в Софийском округе и своими налетами на фашистские соединения не давали оккупантам покоя: пускали под откос их поезда с войсками и техникой, взрывали арсеналы с оружием. В те дни я сделал фотографию группы болгарских партизан (снимок слева), которая была опубликована в «Правде» 9 октября 1944 года.

Прошло более двух десятилетий. У меня возникла мысль поехать в братскую страну, найти бывших партизан, запечатленных на этой фотографии, и рассказать, что же дала им народная власть, за которую они дрались с оружием в руках.

...Первый болгарский город, который был на пути в Софию,— Русе. Здесь поезд стоял около двух часов. С волнением осматриваю новые районы. Ведь в дни освободительного похода мы также вступили в Болгарию через Русе. Все здесь стало иным. Большие массивы новых жилых домов, фабрик и заводов. И так было вдоль всей дороги к болгарской столице.

София. В руках у меня пачка фотографий, сделанных в 1944 году. Вот эти улицы, бульвары, памятники...



КОГДА ЛЮДИ ДРУЖАТ

Было это давно. Шел бой. Шипка осталась позади. Русские солдаты плечом к плечу с болгарскими ополченцами гнали к морю турецких захватчиков. Когда отгремели сражения и болгарская земля была очищена от турецких оккупантов, пришла пора расставаться боевым друзьям. На прощание генерал Скобелев построил ополченцев, вручил боевые награды отважнейшим из них.

— Счастливо вам трудиться на свободной земле, братья-славяне,— сказал генерал.

Тут шагнул вперед коренастый молодой ополченец с солдатским «Георгием» на груди:

— Негде нам трудиться, ваше превосходительство,— сказал он.— Турки спалили наши села, угнали скот...

— Как тебя звать, герой?— спросил генерал.

— Козларь Иван,— ответил повстанец,— нас, Козларей, тут пятеро братьев, да ваш ефрейтор Иван Потехин — инвалид и георгиевский кавалер, безногий.

Генерал задумался.

— Вот что, герой,— сказал он,— я к вам приехал из Туркестанского края. Начали расти там города, а ведь вы, болгары, первейшие огородники. Ежели будет ваше желание, поезжайте туда. Народ там работящий, земля благодатная. Что скажешь, Иван Козларь?

...С этого все началось. Несколько лет спустя в окрестности Ташкента прибыл большой обоз болгар-переселенцев. Старшим у них был Иван Козларь. Прославленные огородники поселились рядом с кишлаком Сарыкуль. Дехканам по нраву пришлись новоселы: люди работящие, уживчивые и знающие — было у них чему поучиться.

В дружной семье Козларей шестым братом стал отставной русский солдат Иван Потехин. Он женился на болгарской девушке, и мало кто из соседей-сарыкульцев знал, что он русский. До их приезда местные огородники сажали морковь, лук, редьку да горький перец — вот и весь набор овощей. Болгары привезли семена помидоров, баклажанов, капусты, сладкого перца, картофель. Уже в следующем году узбеки стали возделывать «болгарские» овощи. Они пользовались в Ташкенте большим спросом. Иван Козларь подружился со своим соседом Абдуллой Юсуповым. Тот быстро перенял мастерство болгарского огородника. Шли годы. Стал Узбекистан советским. Осенью 1925 года всеузбекский староста Юлдаш Ахунбабаев решил посоветоваться с агрономами, как выращивать больше овощей.

— Специалистов по парникам в наших кишлаках нет,— сказали агрономы.

— А где их взять?

— Под Ташкентом.

Вскоре после этого разговора в Самарканд приехали Козларь и Юсупов. В ту пору друзьям было по 70 лет. В сарыкульском колхозе «Коминтерн» ими были заложены первые в республике большие колхозные парники — на 5 тысяч рам. В 1931 году Абдулла-бобо и Козларь-бобо ушли из жизни, оставив о себе добрую память. А еще годом позже не стало Ивана Потехина. Все они трое по праву могут считаться у нас зачинателями большого парникового овощеводства. Наследником первых овощеводов стал сын Абдуллы-бобо — Адыл. Сейчас ему 70 лет. Адыл-ата Абдуллаев работает агрономом в экспериментальном парниковом хозяйстве Республиканского научно-исследовательского института овоще-бахчевых культур и картофеля. Каждую зиму съезжаются к нему поучиться колхозные и совхозные овощеводы. Он награжден значком «Отличник сельского хозяйства СССР», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекистана, ему присвоено звание «Заслуженный агроном республики». Большинство новых овощных культур создано Абдуллаевым на основе сортов, завезенных в наши края в конце прошлого века переселенцами-болгарами. И сейчас еще можно услышать выражение «болгарские овощи». Недавно в экспериментальном хозяйстве побывал видный болгарский ученый, директор Чирпанского сельскохозяйственного института Р. И. Радеев. Он сказал:

— Теперь есть чему поучиться у вас и нам, вашим бывшим учителям.— И добавил:— Так бывает всегда, когда люди трудятся и дружат.

Л. АЛХУТОВА,

г. Ташкент.



Партизаны. София, 1944 год.

Они же в Софии спустя два десятилетия. Слева направо: бывший каменотес Богдан Манчев, ныне заместитель директора домостроительного комбината; Спас Попов, бывший рабочий, ныне заместитель председателя общинского народного Совета села Ботунец; Илия Спасов, бывший крестьянин, ныне секретарь партийной организации села Своге; Цветанка Велчева — бывшая учащаяся, ныне инженер; Добри Джуров, бывший командир партизанского отряда, ныне министр обороны Народной Республики Болгарии; Митко Митков — бывший рабочий, ныне персональный пенсионер, полковник в отставке.



С чего же начать поиск? Решаю идти в редакцию газеты «Работническо дело» — орган Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии. Меня принимает член редколлегии Иван Молев. Рассказываю о цели приезда, показываю фотографию, прошу опубликовать ее, дабы через газету найти бывших партизан.

Молев на минуту задумывается, а затем говорит, что печатать снимок не нужно. Второй справа на фотографии — министр обороны Болгарии генерал армии Добри Джуров. Затем журналист поднимает телефонную трубку, набирает номер и говорит:

— Это приемная министра? Соедините меня с генералом.

Через полчаса я был в кабинете генерала Джурова. Бывший партизанский командир долго смотрел на фотографию более чем двадцатилетней давности, а затем сказал:

— Всех найдем, обязательно!

Прошло две недели. Стоял чудесный солнечный день. И когда я подошел к Дому народной армии, где была назначена встреча с бывшими партизанами, первым, кого я увидел, был высокий, плотный, черноволосый человек. Он сжимает меня в объятиях. Это Спас Попов, бывший командир отделения, ныне заместитель председателя общинского народного Совета села Ботунец.

Подходит другой человек с партизанским орденом на груди. Это бывший чабан Илия Спасов. Он пришел с двумя полковниками. Один из них — его сын Петр, а другой — зять Златко Волканов. Подростками они также партизанили. Показываю им фотографию.

— А вы, батько, совсем не изменились,— подшучивает над отцом Петр.

Вскоре подошли и остальные партизаны. Прошу тех, кто изображен на снимке, встать в том же порядке, как они снялись тогда, в 1944 году (снимок справа). Некоторых нет. Они пали смертью героев. Генерал приглашает всех на завтрак. Когда все уселись, Добри Джуров сказал:

— Я предлагаю первый тост за вечную болгаро-советскую дружбу. Так как здесь присутствуют многие газетчики, хочу рассказать один эпизод из боевых действий болгарских партизан и советских войск, происшедший на венгерской территории и связанный также с газетой.

Вот что рассказал генерал.

Советские воины, освободив Болгарию, погнали фашистов дальше на запад. Вместе с ними шел на запад и партизанский отряд имени Чавдара. Фашисты упорно сопротивлялись. Они неоднократно пытались контратаковать. И вот в осенний ненастный день чавдарцы подошли к участку фронта, который часто переходил из рук в руки. Партизаны были одеты в трофейную немецкую форму, многие носили жандармские мундиры. Мы не успели своевременно известить советское командование о передислокации, и, приняв нас в сумерках за фашистов, советские солдаты открыли огонь. Тогда я выбежал вперед с поднятым над головой беловатым полотнищем. Солдаты решили, что мы сдаемся. Когда же они подошли к нам, то увидели в руках у меня газету «Правда».

— Мы болгарские партизаны. Вот смотрите: в вашей «Правде» помещен снимок наших бойцов. Вот и я здесь...

Все моментально прояснилось. Совместный яростный удар советских и болгарских войск опрокинул врага.

С. КОРОТКОВ,
Сухуми.



ВИШНЕВЫЙ КИСЕТ

«Четвертые сутки уходили от карателей остатки партизанского отряда — пятнадцать человек, способных держать оружие, и трое тяжелораненых. Лесистые склоны Стара-Планины надежно укрывали нас, но у карателей были проводники из местных полицаев, которые вели их по нашим следам. Необходимо было часа на три-четыре оторваться от фашистов, чтобы уйти от погони.

На небольшой полянке под развесистым буком командир сказал:

— Нужны двое. Последняя попытка задержать противника, иначе с ранеными не уйдем.

Все пятнадцать молча сделали шаг вперед. С ручным пулеметом остались на площадке мы с болгарином Георгием Жечевым. Фашисты не заставили себя долго ждать. Четыре раза накатывались они и раз за разом отходили. Пулемет бил коротко, но всегда в цель. Немало врагов осталось лежать на поросшей кустарником поляне. И тогда в дело вступил вражеский миномет. Прошло уже полдня. Наша задача была выполнена, но уходить некуда: кругом враг. Первые мины шлепнулись выше, но скоро фашисты пристрелялись. Осколок мины пробил сердце моего друга и вонзился в стоящее рядом дерево.

Я бросал гранаты, пока не потерял сознание...

Когда открыл глаза, утреннее солнце ласково светило сквозь мягкую листву. С трудом добрался до Георгия. Все, что осталось в карманах болгарского брата,— это кисет, пропитавшийся кровью. Я положил в него плоский осколок, который выковырнул пустой гильзой из коры дерева.

А на другой день к вечеру пришли люди из нашего отряда и нашли меня.

Прошло три месяца, и снова я дрался с фашистами. И, как крепкую клятву, носил я на груди вишневый от крови кисет с темным шершавым осколком. В минуту боя он напоминал о мести, в холодные ночи согревал на коротких привалах.

Советская Армия быстро продвигалась на запад. Мы готовились перекрыть дорогу, чтобы помешать отступлению врага. Фашисты отчаянно контратаковали нас. В одном из боев я был тяжело ранен.

Очнулся в полевом лазарете. Стояла такая тишина, что даже не верилось. Слышалось пение птиц.

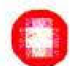
— Ну, батенька, лихо продырявили тебя фашисты! А тебе и старых отметин вполне бы хватило,— наклонившись, с улыбкой говорил военврач. В руках его был кисет Георгия.— Да, спас тебя этот осколочек в кисете. Отвел пулю от сердца.— Врач бережно положил осколок мне на ладонь.— Храни.

— Это — сердце друга,— прошептал я».

P. S. ...Я знаю об этом человеке лишь то, что его зовут Иван Николаевич. Знаю, что он партизанил в Болгарии после побега из концлагеря, расположенного в Австрии. А историю эту он рассказал мне и другим попутчикам в 1959 году в Новосибирске после просмотра киножурнала о Болгарии в привокзальном кинотеатре. Ехал рассказчик, кажется, в Хабаровск. Конечно, лучше всего было бы, если бы он сам написал об этом. Но, по-моему, такие люди о себе никогда не пишут. В конце своего рассказа Иван Николаевич достал объемистый бумажник и вынул из него маленький вишневый шелковый кисет, простреленный в двух местах. А затем вынул тупорылую пулю и плоский почерневший осколок.

— Всегда со мной...— сказал он.

Владимир ВЕЛИЧКО,
Красноярский край.



КАК СОЛДАТ СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ

Это произошло на глазах жителей Софии. По мосту шла молодая болгарка. Впереди нее, метрах в пяти, бежала дочь, играя мячом. В середине моста перила неожиданно обрывались. Восстановить их еще не успели. А внизу бурлила река Искыр. Вдруг мяч, выскользнув из рук ребенка, подпрыгнул несколько раз и упал в воду. Девочка по инерции бросилась вдогонку за ним и оказалась в реке. В тот же момент пехотинец, который шел рядом со мной, бросился в воду. Окружающие ахнули. Сентябрь повеял на нас, стоявших на мосту, студеным ветром... Взоры всех людей были устремлены на человека, который нес на руках мокрую, но невредимую девочку.

Плача от радости, мать целовала растерянного бойца. Тут же, возле моста, стихийно возник митинг:

— Болгары и русские — братья навеки! — Спасителя подняли на руки и пронесли по Софии. На следующий день все газеты поместили портрет русского бойца, подробно рассказали о его жизненном пути.

И с самого утра к нему началось паломничество граждан Софии. Приходили, чтобы посмотреть на героя, дарили букеты цветов, крепко жали руку. Чтобы выразить свою благодарность, жители города приносили сувениры, ценные подарки. Свою лепту решил внести и местный богач. На стол перед солдатом он вывалил целую кучу драгоценностей.

— Я миллионер,— сказал он.

— Я тоже миллионер,— ответил русский солдат.

— Как? — удивился богач.— В России есть еще миллионеры?

— От болгар я получил миллион благодарностей и миллион рукопожатий. Это и есть мое богатство.

В. ВЕРЕС.
Волынская область.

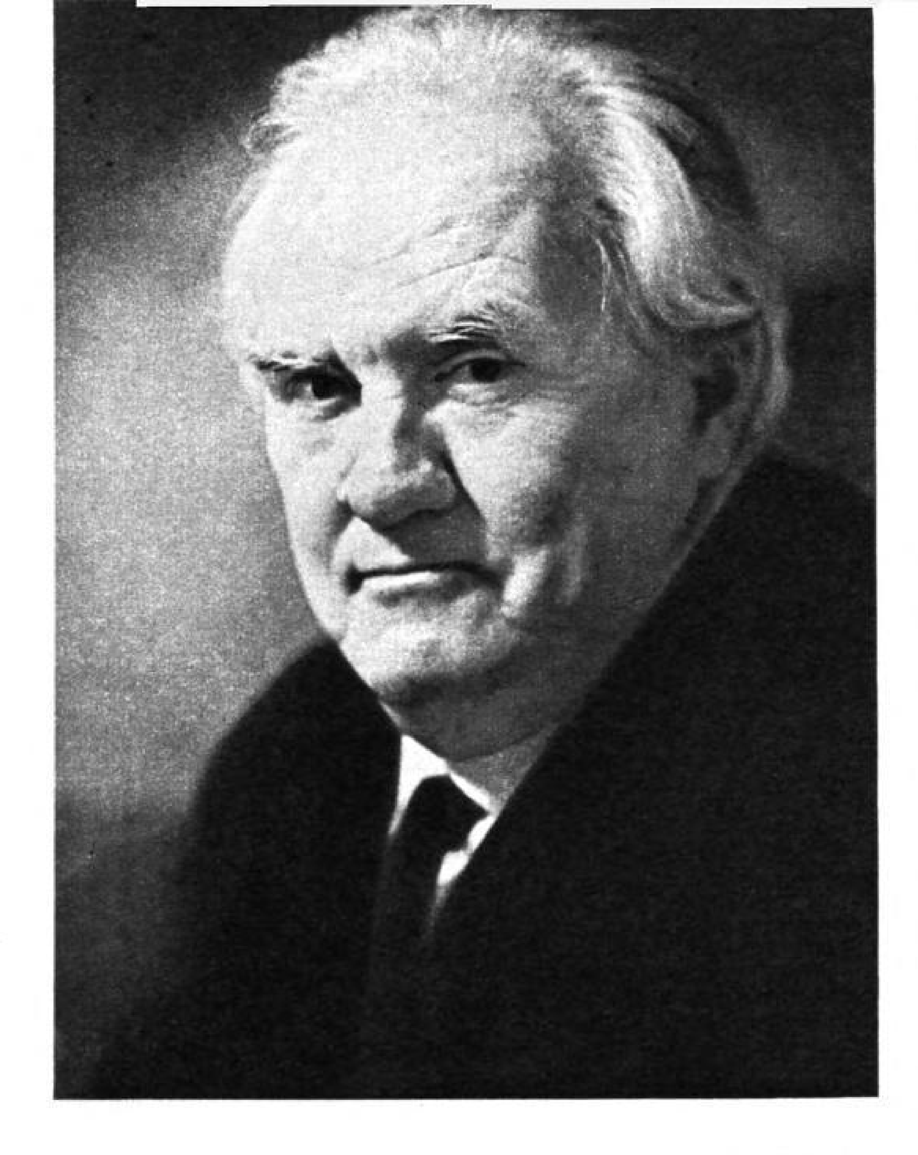


Фото И. ТУНКЕЛЯ.

И ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ САГА

Александр ПРОКОФЬЕВ

Разговор о поэте я начинаю с его ранних стихотворений. Они, как никакие другие, к месту, к началу разговора:

Крутили мельниц диких
жернова,
Мостили гать, гоняли гурт
овечий,
Кусала ноги ржавая трава,
Ломала вьюга мертвой
хваткой плечи.
Мы кольца растеряли,
не даря,
И песни раскидали по
безлюдью,
Над молодостью —
медная заря,
Над старостью... но старости
не будет.

Сколько бы ни было Николаю Тихонову лет, у него старости нет и не будет! Стихотворение, которое я привел, очень раннее, юношеское, оно даже не входило в первую книгу поэта «Орда». Гораздо позже Тихонов говорит:

Я камнем не был,
Волнами тесним,
И видит небо —
Я не буду им.

Мне думается, что те, кто хоть немного знает Тихонова, посчитают лишним это утверждение влюбленного в жизнь, утверждающего ее, очень живого человека! За нее он много раз, находясь в буре мировых событий, не жалел своей жизни, считая:

...В верности такой,
Что все ничто пред нею,
Когда уж не рукой,
А жизнью жертвуй всею.

Николай Тихонов многогранен и в жизни и в поэзии. В жизни — достаточно сказать, что он трижды вставал под боевые знамена в борьбе с врагами за Россию! Такое нельзя изъять из биографии, такое не забывается и в узкой семейной хронике и в истории страны, которая помнит, должна помнить дела ее граждан, патриотов ее, дела людей, которые встают по первому зову ее, когда она в опасности. Мне, пережившему вместе с ленинградцами голодную и холодную, смертную блокаду Ленинграда, особенно ярко виден Тихонов в это время. Он был начальником нашей небольшой писательской группы при Политуправлении Ленинградского фронта. Он работал без устали. Свидетельством его вдохновенной работы служат рассказы о ленинградцах, постоянные, из месяца в месяц, письма о Ленинграде («Ленинград в июле», «Ленинград в сентябре» и т. д.) и наконец прекрасная его поэма «Киров с нами», где введены в стих «железные ночи Ленинграда», где гормягорит сердце поэта, где сам стих чеканен вдохновенным мастером:

Домов затемненных громады
В зловещем подобии сна,
В железных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина.

Но тишь разрывается воем,—
Сирены зовут на посты,
И бомбы свистят над Невою,
Огнем обжигая мосты.

Облик Тихонова — солдата, человека — неотделим от облика Тихонова-поэта. Тихонов в поэзии — ярый противник застоя, рутины, равнодушия (перечитайте его «Школу равнодушных»!), он влюблен в поэзию навсегда!

У меня великое уважение и любовь к стихам Тихонова. Они никогда не меркли для меня, прошли со мной через годы, через десятилетия. Они вошли в мою плоть и кровь сквозь грозы битв вместе с ударами сердца этого мужественного человека, товарища, друга. Они вошли в меня, читателя, почитателя его могучего таланта. Поэзия Н. Тихонова вошла в мое сердце в отменном ритме баллад, с их афоризмами, которые неизгладимы, их часто произносят и ныне («Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей»). Поэзия Н. Тихонова пришла ко мне в звоне тонких, лирических стихов «Орды» и «Браги», стихов о Грузии, Армении, о Югославии, о Ленинграде, обо всех тех местах на земном шаре, где Тихонов бывал, поэзия Тихонова пришла ко мне в великолепных циклах «Чудесная тревога», в «Осенних прогулках», в стихах о Кахетии, где он «прошел над Алазанью, над волшебною водой, поседелый, как сказанье, и, как песня, молодой»; поэзия Тихонова пришла ко мне в эпосе, в поэмах, где многие строфы начертаны, словно на меди, где громово говорит История от лица героев невиданных в веках битв!

Такого поэта, как Тихонов, все касается в мире:

Ты думаешь, я забываю
О мире, кипящем ключом?
Испания — та, боевая,—
Ты думаешь, мне нипочем?

Он ничего не забывает. Ему забывать не положено! В каком-то значительном ряду случаев его стихи становятся вещими; он предвидит, взволнованно предостерегает:

Я хочу, чтоб в это лето,
В лето, полное угроз,
Синь военного берета
Не коснулась ваших кос.

Чтоб зеленой куртки пламя
Не одело б ваших плеч,
Чтобы друг ваш перед вами
Не посмел бы мертвым лечь.

Вот и все стихотворение. Сколько в нем любви и света! А ведь разговор идет в предгрозье... В наше предгрозье, когда, как свидетельствовал Тихонов в другом стихотворении, «мы свой урок еще на партах учим, но снится нам экзамен по ночам!».

Этот экзамен, снившийся нам тогда по ночам, пришел к нам сурово и грозно. Н. Тихонов держал его в Ленинграде во всеоружии бойца и поэта. Он овеян его личным мужеством и мужеством ленинградцев — доблестных друзей и братьев поэта! Поэт В. Князев сказал однажды: «Только тот коммунист истый, кто мосты к отступленью сжег». Н. Тихонов принадлежит к такой группе людей. Он истый патриот, горячо любящий Россию, воспевающий ее: «Разве жить без русского простора небу с позолоченной резьбой?..» И Ленинград — родной город поэта — тоже безмерно им любим. И как крик души звучит над Балтикой заключительная строфа стихотворения «Возвращение»:

Но куда б по свету
ни бросаться,
Не найти среди других
громад
Лучшего приморского
красавца,
Чем гранитный город
Ленинград!

Николай Тихонов в постоянном поиске новых стиховых средств. Мы все помним его крутой поворот от песенно-напевных стихов «Орды» и «Браги» к стихам в книге «Поиски героя», к поэмам «Шахматы», «Красные на Араксе», к «Лицом к лицу». Но везде, везде и в новом строе стиха звучит утверждение нашей советской правды:

Неслышно, как в ночь игла,—
Для иных — чернее чумы,
Для иных — светлее стекла,—
Так в Азию входим мы.

Это из поэмы «Красные на Араксе». А говоря прозой, конечно, и не только в Азию. Здесь в четырех строчках раскрыто поэтом наше движение к народам земного шара, которых коснулся ветер Октября!

Николай Тихонов одним из первых советских поэтов вдохновенно повел разговор о В. И. Ленине в поэме «Сами». Поэма широко известна, значение ее непреходяще.

Могуче звучание переводческой работы Тихонова, сближающей народы. Она масштабна. Своеобразна и интересна проза его, отличающаяся широтой и глубиной показа жизни.

Кипучей творческой работе писателя постоянно сопутствует огромная общественная деятельность. Наш народ знает, ценит Тихонова гражданина, уже много лет возглавляющего Советский Комитет защиты мира.

Николай Семенович Тихонов вошел в советскую литературу, и не только в советскую, как новатор, как истинный мастер, и сейчас, от всего сердца поздравляя поэта с его знаменательным торжественным днем — семидесятилетием,— я заключаю заметки о поэзии Тихонова моим кратким стихотворением, обращенным к нему:

Друг мой славный,
песенный и брат мой,
Мы одной судьбы.
С такой судьбой
Я, плечо в плечо,
в походах ратных
Не однажды, помнишь,
шел с тобой.

Что бы мне ни падало на долю,
Приходил к тебе я,
как домой,
Чтоб услышать слово молодое
И возликовать,
Дружище мой.

И веселье дней твоих
послушать,
И узнать, чем жизнь озарена,
И глядеть в твою прямую
душу,
Над которой старость
не вольна!

Мой адрес: 528 сп...



Собирая материалы о героях-москвичах, я встретилась с родными Героя Советского Союза Наташи Ковшовой — Валентиной Ивановной Араловец, бабушкой Наташи, и с ее тетей, Надеждой Дмитриевной. Они познакомили меня с семейным архивом и передали на хранение в наш музей фронтовые письма Наташи Ковшовой, адресованные ее родным и боевым друзьям. Как известно, Наташа и ее подруга Мария Поливанова погибли 14 августа 1942 года в районе деревни Сутоки под Старой Руссой.

**Старший научный сотрудник Музея Вооруженных Сил СССР
Т. НИКОНОВА**

Письмо матери — Нине Дмитриевне Араловец

«28. XII—41

Милая моя мамусенька!

Сегодня наконец-то получила открытку и от тебя. Уже от всех успела получить, и даже не по одному письму, а от тебя все нет и нет. Даже Володька Ш. сумел меня разыскать раньше, чем ты. Ну ничего, лишь бы ты была здорова, а остальное приложится. Как ты там устроилась? Почему ничего не пишешь о себе?

Хорошая ты моя мать! Я живу хорошо. Наше подразделение передвинулось на другой рубеж вслед за удирающим гитлеровским отродьем. Мы сейчас живем в деревне, в полутора километрах от которой происходили бои. Много ужасного рассказывают местные жители, побывавшие в лапах у фашистских извергов. К нашей хозяйке приходила женщина, брата которой немцы расстреляли только за то, что он и еще четверо его товарищей (14—15 лет) вышли на улицу после 4 часов дня. Фашисты везде звонят о культуре своей нации, а сами ведут себя хуже всяких дикарей. Свояченица нашей хозяйки рассказывала, что человек семь немцев вошли к ней в избу и прямо при ней и при дочери разделись догола и принялись плясать с самыми дикими возгласами. На двор ходить они не считают обязательным, в уборную ходили прямо за печку и в сенях, причем совершенно не стесняясь присутствия женщин. Ну, им тут здорово ума вложили. Куда ни глянь, везде валяются. В пилотках, в ботинках, в легких брюках навыпуск. Обросшие, грязные, противные...

А уж оружия и боеприпасов сколько здесь подобрали — прямо видимо-невидимо! Мины целыми ящиками валяются у дороги, орудия, автомобили, автобусы (длинные, неуклюжие, как гробы), все побросали «благородные, чистокровные рыцари» и бежали без оглядки, только давай бог ноги. Как видишь, дела у нас идут неплохо. А как там у вас? Не собираетесь ли в Москву? К весне обязательно приезжай в Москву...

Пиши, как живут Катя и Вова. Почему они мне ничего не напишут? Передай им привет и поцелуй.

Мамка! Хорошо бы было, если бы ты смогла прислать мне рекомендацию в партию. Только скорее!!!

Ну, целую тебя крепко и нежно сто миллионов раз.

Твоя Ната».

Письмо командиру Станиславу Александровичу Довнар в Москву

«3. VI—42

Здравствуйте, уважаемый Станислав Александрович! Наконец-то получила от вас весточку. Сразу легче стало на сердце. Большое-большое сердечное спасибо за письмо. Очень рада, что здоровье ваше настолько улучшилось, что вам не пришлось эвакуироваться в Ташкент. Настроение у вас, судя по письму, тоже хорошее, значит, все хорошо и будет еще лучше. А за вас я уже немножко отомстила фрицам: в последнем бою мне удалось подстрелить пять фашистских автоматчиков. Правда, и мне это даром не прошло: осколками мины я была ранена в обе ноги и в обе руки. Но мне, как всегда, повезло: все раны без повреждения кости и совсем незначительные, кроме одной, из-за которой меня чуть в ППГ [1] не отправили. Ну, я попросилась в роту выздоравливающих при медсанбате, где я сейчас и нахожусь...

Живем в лесу. Природа здесь замечательная: холмы, лес, очаровательные ярко-зеленые полянки, покрытые ландышами и фиалками, и, самое главное, озера, большие, блестящие, как зеркала, в изумрудных рамках травы и молодых березок, а на заре соловьи заливаются серебристой трелью, и в довершение ансамбля — меланхолическое «ку-ку» раздается почти круглые сутки. Все было бы хорошо, но... комары. Просто спасения от них никакого нет! Да еще так хочется скорее в часть!

Мы с Машей [2] последнее время были во 2-м батальоне... Горячих дел у нас хватает. Стоим мы сейчас километрах в 15—18 от пункта Д. Вы, наверное, знаете и помните, это основной узел сопротивления, после того как взят М.— районный центр, и вообще последняя опора фрицев на нашем участке фронта. В общем, еще одно усилие — и нам, пожалуй, здесь делать будет нечего.

Ну, характер боев, конечно, сильно изменился в связи с изменением времени года. Надо сказать, что «концерты» теперь уже совсем не те, что были, гораздо сильнее и звучнее, игрушки лап-

[1] ППГ — полевой передвижной госпиталь.

[2] Герой Советского Союза М. Поливанова.

Глазами врага

Немецкие документы о битве под Москвой

В речи 2 октября 1941 года Гитлер объявил: «Сегодня начинается последнее, великое, решающее сражение...»

По линии группы войск «Центр» были сосредоточены 80 лучших дивизий, из них 23 танковых и моторизованных, весь второй воздушный флот — свыше 1 000 боевых самолетов. Уверенность в достижении поставленной цели была такова, что заранее были сделаны назначения на высшие посты оккупационных властей в Москве.

Гитлер отдал вермахту приказ, в котором предусматривалось:

1) окружить Москву таким образом, чтобы ни один московский житель, включая женщин и детей, не мог ее покинуть;

2) всякую попытку уйти из оккупированной Москвы подавлять силой;

3) с помощью особых сооружений затопить Москву и ее окрестности;

4) там, где стоит Москва, должно возникнуть огромное море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа.

3 октября, то есть на следующий день после гитлеровской речи, Геббельс поспешил заявить, что он «может сказать наконец то, чего не мог сказать раньше,— враг разгромлен и больше никогда не поднимется».

8 октября гитлеровское радио передало на весь мир: «Мы ждем с минуты на минуту чрезвычайное сообщение».

И оно действительно поступило «из главной квартиры фюрера». В нем говорилось: «Окончательная победа, которой предшествовали бои решающего значения, достигнута!»

На следующий день «Фёлькишер беобахтер» вышел с заголовком на всю страницу: «Великий час пробил! Кампания на Востоке предрешена. Конец военной мощи большевизма!»

По замыслу нацистов захват Москвы должен был бы означать не только решающую военную победу над Советской державой, но и послужить началом еще более далеко идущих захватов. Поэтому все было поставлено на «козырную карту» — на битву за Москву.

В Берлине уже заверяли друг друга, что «Москва взята» и «большевики просят заключить перемирие». И как было не заверять, если сам фюрер вещал: «Поймите, господа, русский медведь уже мертв, окончательно мертв. И если он все еще стоит на ногах, то просто потому, что он отказывается упасть. Один сильный удар, и он свалится».

Русские почему-то перемирия не просили. Неся огромные потери, немецкие дивизии снова и снова рвались к советской столице. И получали сокрушительный отпор.

Но гитлеровские вояки еще петушатся. Фельдмаршал фон Клюге «еще видит в бинокль башни Кремля». Он взбадривает своих офицеров, кокетливо спрашивая: «Будем наступать?» И те с усердием отвечают: «Без промедления! Мы хотим рождество справлять в Москве!»

Победные реляции верховного командования вермахта продолжали поступать в Берлин. Правда, уже не столь многообещающие:

«В наступлении на Москву достигнуты новые успехи...»

«Наше продвижение на Москву продолжается».

А в эти же дни лейтенант Герхард Лемке из штаба 185-го пехотного полка пишет совсем иное в своем дневнике:

«5 декабря 1941 года. Положение гнетущее и неопределенное. Тяжелая дальнобойная русская артиллерия подвергает наши позиции уничтожающему огню. Ракетные снаряды разрываются в самом их центре. Несколько тяжелых танков приближается к деревне. Мы с нашими средствами бессильны против этих чудовищ...»

Несколько дней спустя он продолжал:

«Мы прошли по Бородинскому полю, по которому ступал Наполеон и на котором стоят многочисленные памятники о происходившем здесь сражении. Мы переправились через Москву-реку, затем добрались до Вишенок, отражали атаки противника, мы впервые познакомились с сибирскими дивизиями. Кругом бродят совершенно опустившиеся фигуры, оборванные, как бродяги. У людей наших чувство обреченности...»

И вот уже совсем иные строчки появляются в «Фёлькишер беобахтер»: «Из всех противников, которых немецкому солдату до сих пор пришлось узнать и которых он одолел, советский солдат самый трудный, самый жесткий и самый упорный».

В дневнике генерал-полковника Гальдера появляется запись: «Битва под Москвой грозит стать Верденом вермахта...»

Командующий группой «Центр» фельдмаршал фон Бок записывает 1 декабря: «Предположение, что наша группа войск разобьет противника, было, как показали бои последних двух недель, сновидением».

Среди прочих причин разгрома вермахта под Москвой фон Бок указывает на «недооценку силы сопротивления Красной Армии, ее людских и материальных ресурсов. За невероятно краткий срок русские восстановили свои разбитые дивизии и выставили новые из Сибири, бросили их на фронт, восполнили потери в артиллерии многочисленными ракетными орудиями...»

То, что уцелевшие гитлеровские вояки не высказали до конца, не дописали в своих дневниках в годы войны, они завершили в своих «воспоминаниях» после 1945 года.

Гудериан, один из главных инициаторов «немедленного захвата Москвы», твердо веровавший в победу над Россией, признает в своей книге «Воспоминания солдата», что «поражение в декабре 1941 года повело в дальнейшем к роковым последствиям».

Гальдер в книге «Гитлер как полководец», дав волю своему негодованию, пишет, что в катастрофе повинен его бывший «фюрер», у которого «не было царя в голове». И все-таки признает, что «битва под Москвой была прелюдией трагедии на Востоке».

Да, кое-кто в ФРГ горюет не о том, что был план нападения на СССР, «план Барбаросса», а по поводу того, что он не был реализован! А не мешало бы им помнить получше тот сокрушительный удар, который нанесли кровавому агрессору в битве под Москвой Советская Армия, весь советский народ!

Д. УМАНСКИЙ

повского типа и тяжелее, работают прекрасно и заслуживают всяческих похвал (не то, что зимой). Ну, а что касается «гостей», которые зимой действовали под идейным и непосредственным руководством Григорьева, то про них можно сказать, что они значительно прибавились в весе и полностью оправдывают свое назначение. Их не сравнить с теми «двадцатками», что были зимой, кроме этого, на небе тоже произошли существенные изменения, и перед боем мы имеем удовольствие слышать раскаты «грома небесного» и видеть, как «не осенний мелкий дождичек» обрушивается (да как!) на паршивые головы фашистских собак и как они от этой музыки стремглав выскакивают из своих хваленых дотов.

Ну, а самых последних известий я еще сама не знаю, так как к нам сюда новости доходят с опозданием. Поэтому еще особенно хочется мне сбежать в часть. Рана на руке у меня еще глубокая, открытая, но с обеих сторон (входное и выходное отверстие) очень чистая и симпатичная. Поэтому я думаю, что скоро отсюда выберусь, тем более что все остальные ранки уже подсохли. Машенька меня ждет не дождется. Она меня здесь навещала. Вам от нее большой-пребольшой привет.

Ну, будьте здоровы и веселы. Приезжайте к нам обратно, и будем снова вместе воевать...

А пока крепко жму руку, желаю счастья и успехов.

С сердечным приветом

Наташа.

Мой адрес: 528 СП, 2 бат.».

В заключение еще одно письмо, от матери Наташи Ковшовой — Нины Дмитриевны Араловец — сестре, Надежде Дмитриевне, в котором сообщаются подробности гибели дочери.

«1942 г.

Надюша, родная!

Я написала несколько писем Вите, чтобы он мне сам написал подробно о Натоньке... От него нет больше писем. Тревожусь. Ведь Ната погибла при отражении 26-й по счету контратаки врага. Значит, понятно, какие там идут бои, если на небольшой участок, который они защищали, было выпущено более 1 300 снарядов. Ната погибла, взорвав двумя последними гранатами себя, Машеньку и обступивших их немцев, уже предвкушавших сладость расправы над двумя умирающими от ран русскими девушками. «Большевики в плен не сдаются! Получайте, проклятые гады!» — с этим возгласом Ната ударила последними гранатами. Так оно было. Умереть, но не сдаваться и даже в смерти своей поражать врага. У Наты, у моей маленькой дочечки, у моего сокола, нет могилы. Нет! Не сомневаюсь нисколько, что Ната моя только так могла умереть. Слишком сильна была ее брезгливая ненависть к подлому врагу, чтобы она допустила прикоснуться к себе или к Машеньке кровавыми фашистскими лапами. Нет, моя дочь хорошо умерла! Мой маленький, любимый соколенок был настоящим героем!

Пиши, Надюша, родная! Целую нежно.

Нина».



Артур Карлович Спрогис и его боевые товарищи-разведчики в редакции «Огонька».
Слева направо: О. Горчаков, А. Пуховицкий, К. Милорадова, Д. Дмитриев, А. Спрогис.

Фото Р. Лихач.

О НИХ МОЛЧАЛИ СВОДКИ

Овидий ГОРЧАКОВ,
бывший разведчик

В октябре сорок первого года мне стукнуло семнадцать. Это событие я ознаменовал новым заявлением в райвоенкомат. Но меня опять не послали в действующую армию. Сообщили лишь, что я зачислен кандидатом в военное училище, а пока мобилизован на трудовой фронт. Долбя ломом мерзлую чувашскую землю недалеко от берега Волги, я мечтал о боях. Тогда у меня в голове родился дерзкий план. Я сагитировал маму, и она вручила мне сто пятьдесят рублей, полученных по отцовскому аттестату, и тощий заплечный мешок с провизией — сухарями и куском вареной конины. Мне пришлось преодолеть семьсот километров, которые я в основном отмахал на «одиннадцатом номере», шагал по шпалам в снег и ветер, в пургу и мороз, часиков эдак по шестнадцать в день. Лишь километров двести удалось проехать «зайцем» в теплушке.

Наконец я добрался до Москвы, до секретаря Коминтерновского райкома комсомола. Выслушав рассказ о моем «ледовом походе» и обо всех моих злоключениях, он широко улыбнулся:

— Да ты почти Ломоносов! Только Михайло шел грызть гранит науки, а ты... Натерпелся ты, парень... Постой-ка, твой опыт может пригодиться. Не здесь, а на той стороне!

Я надел свой самый лучший довоенный костюм и с запиской секретаря Коминтерновского райкома двинулся в горком комсомола в Колпачном переулке. Принял меня один из секретарей — Александр Николаевич Шелепин.

— Готов ли ты спрыгнуть с парашютом в тыл врага? — спросил он, пристально разглядывая меня.— Сможешь ли пожертвовать собой, чтобы спасти товарищей? Вынесешь ли любые гестаповские пытки, не проронив ни слова?

...В горкоме комсомола получил путевку в тыл врага. На следующее утро я явился к своему первому командиру — майору Артуру Карловичу Спрогису.

Командир части лично принимал всех вновь прибывших и беседовал с ними с глазу на глаз. На его

„ПРАВДА" ШЛА НА ФРОНТ

В номере «Правды» от 22 июня 1941 года не было и намека на войну. В последнем мирном номере шли обычные статьи и корреспонденции. В частности, большая пропагандистская статья «Свобода и необходимость». Как сотрудник и дежурный отдела пропаганды, я находился в редакции до выхода газеты. Короткая летняя ночь уже растаяла в лучах июньского солнца, когда мы, работники редакции, прихватив свежий номер «Правды», вышли на улицу.

Переступив порог дома, слышу телефонный звонок: «Немедленно приезжайте в редакцию».

Когда я приехал, в секретариате уже собралось несколько человек. Только что звонил секретарь ЦК и МК партии А. С. Щербаков. Он велел собрать всех, в том числе печатников, и сказал, что, возможно, понадобится выпустить экстренный номер «Правды».

Включили радиоприемник. Сквозь шумы и свисты радиопомех доносился голос Риббентропа. Он оглашал декларацию об объявлении войны, хотя война уже шла... Главный редактор П. Н. Поспелов быстро прошел в свой кабинет. Топчемся в приемной, в коридоре, ждем вызова, заданий. Через некоторое время узнаем: в 11 часов будет выступление по радио, чье — точно еще неизвестно, затем состоятся митинги, всем разъехаться по заводам. Звоним секретарям райкомов партии, спрашиваем, где будут митинги, какие вообще намечаются мероприятия. Секретари отвечают неохотно, в подробности не вдаются...

Номер «Правды» от 23 июня был уже военным. Официальные документы, отчеты о митингах, отклики рабочих, колхозников, ученых. Большая статья Ем. Ярославского «Великая Отечественная война со-

груди поблескивали два высших ордена — Ленина и Красного Знамени. У него были всевидящие, как нам казалось, глаза. Он не смотрел на желторотых добровольцев свысока, с высоты своего звания и своего опыта. Если он не верил человеку, что случалось редко, то прощался с ним вежливо и навсегда. А если верил, то верил до конца, как боевому товарищу, с которым он вместе пойдет в тыл врага. В штабе фронта немало опытных командиров сомневалось, нужно ли отправлять в немецкий тыл восемнадцатилетних юнцов и девчат. Майор Спрогис не сомневался. Он сам пошел на войну мальчишкой, стал членом партии большевиков в пятнадцать лет.

...Это было за двадцать лет до начала Отечественной. Курсант Спрогис стоял на часах. Винтовка-трехлинейка с примкнутым трехгранным штыком была намного выше невысокого курсанта.

К Спрогису подошел Ленин.

— Здравствуйте! — сказал Владимир Ильич с улыбкой.

Может быть, потому, что шестнадцатилетний курсант Спрогис был самым юным курсантом в 1-й Советской Объединенной военной школе РККА имени ВЦИК, которая выделяла бойцов в кремлевский караул, Ильич задержался у часового и заговорил с ним. Прежде, бывало, Ильич здоровался за руку с каждым курсантом, стоявшим на часах у дверей его кабинета в Кремле, но потом, как слышал Спрогис, комендант Петерсон зачитал председателю Совнаркома соответствующую выдержку из «Устава внутренней службы», запрещавшего подобное обращение с часовым. И все же Ильич вновь нарушил устав и расспросил курсанта о том, как он попал в военную школу.

Артуру Спрогису было четырнадцать лет, когда он стал помогать партизанам латышского отряда под оккупированной немцами Ригой. Этим отрядом командовал его отец, рабочий и красногвардеец Карл Спрогис. В феврале 1919-го Артур стал разведчиком-красноармейцем. Потом около года работал он под началом Дзержинского, в ЧК, затем его откомандировали на учебу на Кремлевские курсы комсостава. В начале тридцатых годов Артур Карлович сам возглавил специальные курсы, на которых ковались командные кадры будущих партизанских отрядов. Хотя Берия потом разогнал эти курсы и фактически прекратил всякую подготовку к партизанской войне, тем не менее остались крепкие кадры, такие, как прославленные партизанские вожаки Ковпак, Орловский, Ваупшасов, Корж, Старинов.

С первых же дней Великой Отечественной войны Спрогис, выпускник военной академии имени Фрунзе, стал особоуполномоченным представителем Военного совета Западного фронта. В одном из его удостоверений сорок первого года указывалось: «Удостоверение действительно до полной победы над врагом». Из самых надежных, самых преданных и отважных патриотов он сколачивал группы и отряды для того, чтобы взрывать тылы гитлеровской группы армий «Центр». К молодым москвичам, к Сережкам с Малой Бронной и к Витькам с Моховой, присоединились их сверстники — комсомольцы из Ярославля и Тулы, Иванова и Рязани, а также повидавшая военного лиха молодежь из оккупированной Белоруссии, Смоленщины и Орловщины. Но все ушедшие в тыл врага из Кунцева и с других баз спецгруппы майора Спрогиса гордо называли себя при встрече с местными партизанами московскими отрядами. И если я позволил себе начать с рассказа о том, как сам я попал в эту часть, то лишь потому, что моя судьба очень похожа на судьбу многих московских парней.

Когда я прохожу мимо кинотеатра «Колизей» на Чистых прудах, я всегда жалею, что на его стене не вижу мемориальной мраморной доски. Сюда в тот тяжелый октябрь сорок первого приходили ребята и девчата с самодельными вещевыми мешками, с туристическими рюкзаками. Искоса поглядывая друг на дружку, прохаживались они по тротуару, делая вид, будто разглядывают старую афишу какого-то довоенного фильма. А сами чего-то ждали. Потом подкатывал грузовик, ребята залезали в кузов, и машина увозила их вниз по бульварам. И многие из них в последний раз видели и знакомый кинотеатр, и Москву, и ее бульвары...

Самой большой и славной операцией подмосковных партизан по праву считается налет на штаб 12-го армейского корпуса генерала Шротта. Этот корпус должен был, по замыслу фюрера, первым вступить в Москву. В конце ноября 1941 года вся страна читала волнующую сводку Советского Информбюро:

«Получено сообщение о большом успехе партизан, действующих в оккупированных немцами районах Московской области. 24 ноября несколько партизанских отрядов, ...объединившихся для совместных действий против оккупантов, совершили налет на крупный населенный пункт, в котором расположился штаб одного из войсковых соединений немецко-фашистской армии. Ночью после тщательной разведки славные советские патриоты обрушились на ничего не подозревавшего врага. Прервав сначала всякую связь немецкого штаба со своими частями, партизаны затем огнем и гранатами уничтожили несколько больших зданий, в которых расположились воинские учреждения фашистов. Разгромлен штаб немецкого корпуса. Захвачены важные документы. Отважные бойцы-партизаны перебили около 600 немцев, в том числе много офицеров, и уничтожили склад с горючим, авторемонтную базу, 80 грузовых машин, 23 легковые машины, 4 танка, бронемашину и несколько пулеметных точек».

Эту операцию совершили в Угодском Заводе отряд чекистов под командованием Виктора Карасева, местный партизанский отряд и наш разведывательный отряд под командованием капитана Владимира Жабо, который осуществлял общее руководство всей операцией.

Но газеты по понятным причинам не сообщали тогда о многих других боевых операциях, проведенных нашими группами и отрядами. Еще ни разу не рассказывалось в нашей печати о засаде, устроенной группой старшего лейтенанта Шарого на подмосковном тракте Руза — Петровское. Шаровцы подорвали несколько машин врага и, вступив в бой с гитлеровским батальоном, задержали его продвижение к фронту. Подоспевшее к гитлеровцам подкрепление заставило группу отступить. Она отошла, оставив пулеметчика Алексея, чтобы прикрыть отход. Пулеметчик был дважды ранен, он расстрелял все диски «Дегтярева» и отошел, отбросив наседавших солдат гранатами. Тридцать километров шел Алексей, а потом полз за группой. Шарый отправил его, раненного, на санях через линию фронта вместе со связанным по рукам и ногам «языком» — офицером. «Язык» ухитрился выплюнуть кляп изо рта и заорал благим матом. Алексей на галопе проскочил через фронт, отстреливаясь из «ручника» и награждая офицера тумаками и подзатыльниками. Вскоре он сидел в блиндаже командующего 16-й армией и рассказывал генерал-лейтенанту Рокоссовскому о положении за фронтом, о действиях группы Шарого — она уничтожила два танка, бронемашину, мост и около двухсот фашистов... Все это лишь частица вклада наших партизан-диверсантов в победу под Москвой.

Нередко пропадали без вести наши ребята — в одиночку и целыми группами. А вот Нина Костерина, высокоодаренная девушка, автор недавно опубликованного дневника, пропала без вести в декабре сорок первого под Наро-Фоминском. Все попытки ее отца, писателя Алексея Костерина, узнать обстоятельства гибели Нины пока ни к чему не привели. В трагически длинном списке в «Журнале безвозвратных потерь личного состава» нашей части я нашел Нину Костерину под номером 77.

19 декабря 1941 года под Наро-Фоминском, кроме Нины, погибла большая группа наших разведчиков, защитников Москвы: Александр Алексеевич Акулин из подмосковного поселка Крюково, Василий Алексеевич Башлыков и Виктор Алексеевич Балмашов из города Гусь-Хрустальный, Вера Георгиевна Данилова — с Тверского бульвара, Александр Михайлович Филюшкин — москвич с улицы Чкаловской, Зинаида Кузьминична Шмелькова — с Большой Московской улицы, В. А. Мурашко — с улицы Мантулинской и И. Д. Еремин, который не оставил ни адреса, ни расшифровки своих инициалов.

Пусть отзовется каждый, кто знал этих людей, кто знает об их гибели!

А те, кто остался в живых, не забывают друг друга.

Вы тоже можете увидеть наших героев-разведчиков и нашего командира Артура Карловича Спрогиса (ныне он живет в Москве), прокладывавших победный путь на запад. Каждый год в 18 часов в День Победы они встречаются в сквере перед Большим театром.

ветского народа». В первых числах июля началось формирование московского ополчения. Райком партии поручил правдистам срочно выпустить однодневную газету «Народный ополченец». Четырехполосную газету выпустили за одну ночь. А утром ее уносили на передовые позиции москвичи-ополченцы...

Вскоре и многие правдисты ушли в армию. Человек 15 были назначены военными корреспондентами. Работа в самой редакции «Правды» тоже была фронтовой! 15 октября редакция получила указание эвакуировать основной состав работников в Куйбышев, где временно размещался аппарат ЦК ВКП(б) и Совнаркома. Фронт приблизился к Москве, воздушные нападения участились, и нормально руководить тылом становилось все труднее. В Москве осталась небольшая группа. В отделах редакции шла эвакуация, и в эти же часы перестраивался план номера «Правды», который должен был выйти 16 октября. Главная тема номера — оборона Москвы. Гитлеровская пропаганда вовсю трубила о том, что большевистская столица сдается. Это была ложь! И «Правде» нужно было показать, что Москва стоит прочно, что она будет обороняться до конца. Но момент был крайне острым: 15 октября прекратили работу многие предприятия.

Номер «Правды» от 16 октября со всей убедительностью свидетельствовал о том, что Москва готова дать сокрушительный отпор врагу. На всю первую страницу аншлаг: «Взбесившийся фашистский зверь угрожает Москве — великой столице СССР. С железной стойкостью отражать напор кровавых немецко-фашистских псов!» Боевой тон передовой статьи вселяет уверенность в победе над врагом. Вторая страница открывается призывом: «Остановить врага во что бы то ни стало, преградить дорогу лютым немецким захватчикам!» Корреспонденции с фронтов...

17 и 18 октября постепенно нормализовалась военная и гражданская жизнь города. 19-го в столице объявили осадное положение. Через Москву шли войска. На частые воздушные тревоги днем почти не обращали внимания, и только по ночам часть населения проводила в бомбоубежищах, на станциях метрополитена. Работники редакции и типографии перешли на казарменное положение, в комнатах появились койки. Отделы фронта и тыла поселились в одной комнате. А соседняя комната служила гостиницей для военкоров. Фронт был так близко, что военные корреспонденты приезжали почти ежедневно в редакцию. Питались из общего котла. Одеты все были по-военному и полувоенному, а ближе к зиме — в ватники и валенки.

7 ноября правдисты присутствовали на военном параде, который состоялся, как обычно, на Красной площади. Прямо с парада войска и танки по Ленинградскому шоссе двигались на фронт. Оборона Москвы в эти дни была главной темой на страницах «Правды».

...Наступили долгожданные дни: гитлеровские орды разбиты под Москвой! Радостная весть молниеносно облетела столичные предприятия. Мы, правдисты, были счастливы, что на нашу долю выпала задача говорить стране «московские слова» в эти исторические дни. Сколько раздавалось в редакции телефонных звонков!

Слово «Правды» доносилось через фронт к нашим славным партизанам.

Выход «Правды» в самое трудное для столицы время был символом того, что Москва никогда не сдастся, что под Москвой враг найдет себе могилу.

И. КИРЮШКИН

В МОСКВЕ...

Эльвира ПОПОВА

Палящее лето 1941 года. Враг рвется к Москве. Страна, народ отражают натиск фашистов...

Могли ли студенты старших курсов Московского художественного института продолжать писать привычные натюрморты, портреты, этюды? Нет. И, невзирая на полученные брони, они — Василий Нечитайло, Константин Максимов, Федор Глебов, Андрей Плотнов, Николай Соломин, Михаил Володин, Николай Обрыньба... и с ними их профессор Андрей Дмитриевич Чегодаев — более сорока человек, ушли в Московское ополчение.

Пыльными и горячими июльскими подмосковными дорогами в маршевых колоннах шагали совсем еще тогда молодые художники напрямик к линии фронта. Запевала Федя Глебов выводил:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов...

Уже непосредственно в прифронтовой полосе постигали тяжкую науку войны. Учились стрелять, осваивали ручной пулемет Дегтярева. Рыли окопы, траншеи у Волоколамска. Под Белым приняли боевое крещение — встретились впервые с противником. У Вязьмы попали в окружение. Одиннадцать суток выходили к своим, отстреливаясь считанными патронами, хороня убитых. Шли ночами, обросшие, голодные, в летнем еще обмундировании, под колючими, пополам со снегом осенними дождями. Шли, стиснув зубы, свято веря в победу.

И она пришла... Понуро бредут по Садовому кольцу столицы гитлеровские вояки-пленные.

— Как стремились они сюда, как рвались!— вспоминает Михаил Филиппович Володин, живописец, бывший командир отделения московских ополченцев.— Но вот только так — без оружия, под конвоем советских солдат, под плотным обстрелом презирающих, ненавидящих глаз наших людей могли мы пустить фашистов в родную столицу... Поглядел я на то, как их вели, и не нужно мне, оказалось, искать тему для своей дипломной работы в художественном институте, куда вернулся я после демобилизации из Действующей армии. Тема эта пришла из самой жизни. «В Москве...» — назвал я будущую картину.

* * *

...Центральный выставочный зал Москвы, что у самых стен Кремля,— Манеж. Сегодня здесь развертывается художественно-документальная экспозиция, посвященная 25-летию разгрома фашистских полчищ под Москвой. Картины, скульптура, плакат, рисунки, эскизы, а рядом по праву документы, датированные осенью—зимой сорок первого, вещи, оружие, ставшие священными реликвиями. Среди десятков авторских имен, значащихся на табличках под произведениями, уже знакомые имена художников: «Подвиг двадцати двух чекистов-лыжников» — авторы П. П. Соколов-Скаля и Андрей Плотнов, 1943 год; «В тылу врага» — автор Николай Соломин, 1964; «Москва, Кремль, 1941-й»— автор Михаил Володин, 1966.

...Названия работ — словно вехи на пути к победе: «За нами Москва», «Моряки под Волоколамском», «Флеровцы», «За Москву (народное ополчение)», «Добровольцы», «До последнего патрона», «Москва. Октябрь. 1941-й», «Таня», «Отстоим Москву», «За каждую пядь», «Огонь!», «От Советского Информбюро», «Сталь — фронту», «Слава народу-победителю!»...

Это картины-ветераны, рождавшиеся на поле боя или в нетопленных мастерских, под вой сирен воздушной тревоги, за тусклыми, в крестиках из бумажных полос стеклами. Художникам, создававшим их, привычным было откладывать кисть, карандаш, чтобы взять в руки лопату, щипцы для бомб-зажигалок или, захлопнув походный блокнот, стрелять из автомата, пулемета по наседавшему врагу.

Это картины-воспоминания, написанные совсем недавно теми, кто в сорок первом шел в атаку, держал оборону, пробирался тайной партизанской тропой, вел «языка» из разведки.

Это картины-завещания, оставленные нам теми, кто погиб в бою за Родину и чьи имена выгравированы теперь золотыми буквами на мемориальных досках... Каждый мазок на этих небольших кусках холста — словно рукопожатие павших живым, напоминание о том, как много за свою короткую жизнь передумал, прочувствовал, свершил и высказал людям художник-солдат. А то, чего он не успел, должны за него досказать живые — друзья, товарищи, однополчане, сыновья. И поэтому на выставке, посвященной далекой и славной победе у стен Москвы, как равные займут место произведения, созданные молодыми художниками, которым тогда, первой военной зимой, не было десяти. Молодым — помнить!

Рядом с работами московских живописцев, скульпторов, графиков предстанут и создававшиеся в дни войны произведения сибиряков, уральцев, художников из братских республик. Им тоже есть что рассказать: Москву защищала вся страна! На подступах к столице осенью сорок первого для каждого советского человека, откуда бы ни был он родом, пролег порог родного дома и не стало пути назад.

Вот они — эти люди! Много, очень много портретов на московской выставке. Снайперы, моряки, генералы, партизаны, летчики-истребители, артиллеристы, конники, разведчики, десантники, медсестры, пехотинцы, военные художники, военные корреспонденты, военврачи, Герои Советского Союза, кавалеры боевых орденов и медалей... Комсомолка-рядовой Нина Иванцова, дважды Герой, москвич генерал-майор Виталий Иванович Попков, безымянный «Солдат»... Художники, писавшие их, только выполняли священный долг искусства: навеки запомнить лица героев, сохранить для потомков их мужественный облик, рассказать об их подвигах.

Сотни, тысячи полотен, эстампов, рисунков, скульптур, посвященных героической теме, создали за эти годы советские художники. И теперь их произведения говорят с нами, как живые свидетели:

— Да, все это было. Именно так. Пустые, ослепшие проемы окон в разрушенных бомбардировками зданиях на площади у Белорусского вокзала, на улице 25-го Октября, в Лаврушинском переулке, где Третьяковка... Зенитки на ВСХВ и мешки с песком на Кузнецком. Похожий на клятву парад у Кремля перед Мавзолеем. Танки на Ленинградском шоссе, везущие бойцов к подвигу. Израненные, обезглавленные древние русские храмы. Небо, опаленное кровавым заревом — «У Рогожской заставы» и исхлестанное бичами прожекторов в «Тревожную ночь» над Пушкинской площадью, над гордой головой поэта. Окопы, землянки, противотанковые рвы, колючая проволока, воронки, минные поля у самого сердца Родины...

«Окраина Москвы. 1941 год». Все мы знаем эту картину Александра Дейнеки, написанную в самые грозные дни. Ее не забыть, она заставляет каждого ощутить всю меру смертельной опасности, нависшей тогда над Москвой. Опасность и суровое напряжение перед боем насмерть — они во всем: в ощетинившихся надолбах — словно штыки перед рукопашной, в стремительно-тревожном движении мчащегося грузовика, в низком, рваном полете гонимых лютым ветром облаков, в сумеречном, беспокоящем колорите, в асимметрии, подвижности, будто случайности композиции и даже в самой неожиданности, «неудобности» точки, с которой увидел тогда Дейнека родной город...

Окраина Москвы. Сегодня для нас это новорожденные кварталы, кольцевая бетонная автострада, благоустроенная зеленая зона отдыха, куда валом валят москвичи воскресным днем. Едут на электричках, в собственных «Волгах», в автобусах, а то и просто шагают пешком — особенно если совсем еще молоды!— с рюкзаком за спиной, с лыжами через плечо, с гитарой в руках...

И на выставках рядом с драматическими полотнами, звучащими сегодня эхом далекой войны, висят картины, на которых спокойно улыбается нам мирная Москва.

И в этом сочетании — правда истории, жизнь, достоверность.

К. Юон. ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА.

Г. Нисский. НА ЗАЩИТУ МОСКВЫ. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ.

На обороте вкладки:

А. Дейнека. ОКРАИНА МОСКВЫ. 1941 ГОД.







П. Кривоногов. СОВЕТСКАЯ КОННИЦА В БОЯХ ПОД МОСКВОЙ.

Поэтический триптих

Заметки критика

В. ДРУЗИН

Совсем недавно в ряде наших литературных органов напечатаны новые циклы стихов Василия Федорова, Дмитрия Ковалева и Владимира Фирсова. Это очень значительные стихи трех различных поэтов, взволнованно размышляющих о жизненно важном, серьезно углубляющихся в интересные темы.

Василий Федоров известен прежде всего своими яркими поэмами «Проданная Венера», «Золотая жила», «Белая роща». Но есть у него и хорошие образцы лирики (сборники «Не левее сердца», «Книга любви»). Новые лирические стихи Василия Федорова углубляют затронутую им и прежде тему жизнеутверждающего единства земли и человека.

Стихи Василия Федорова — это размышления о смысле жизни, о преодолении трудностей, о борьбе со злом, о высоком назначении поэзии («поэзия — душа отважная, для всех семи ветров открытая»), о бессмертье поэта:

Итак, душа
Живет, дыша,
Бунтуя в смертном теле.
Умру, но будет жить душа
При том же
Умном деле.

Интонационно богат и разнообразен стих Василия Федорова. Особенно удаются ему поэтические афоризмы (вспомним: «Сердца! Да это же высоты, которых отдавать нельзя»); их немало и в новых стихах:

Пока земля плодов нам не дает,
Она для человека не открыта.

Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забыть все культы и ввести
Непогрешимый культ природы.

Есть интонации иронические:

Поклялась и изменила,
Изменив, опять клялась.

Есть интонации напевные, лирические:

И только ты меня поймешь,
И только ты меня спасешь:
Усталого с земли поднимешь,
За плечи скорбные обнимешь
И снова к жизни поведешь.

Такие стихи говорят сами за себя.

Новые лирические циклы Василия Федорова интересны и по своей образной структуре. Некоторые поэты усиленно гонятся за такой метафоричностью, которая бы казалась позаковыристей, посложней. Василий Федоров не отказывается от живописи словом, и у него есть стихи развернутого метафорического склада, но эти метафоры всегда вполне наглядны и выражают четкую мысль.

Если земля не дает плодов и для человека не открыта —

Над ней горит бесплодная заря,
Закаты гаснут в небреженье
грубом.

Здесь эпитеты и метафоры наглядно выражают общую мысль стихотворения. Но чаще Василий Федоров пользуется эпитетами-определениями, создающими зримую картину: «В ущелье гор, пробив утес, текла река — каменотес».

В изображении Василия Федорова мир, природа, человек, общество — сложны, многообразны, противоречивы, но не хаотичны, не сумбурны, и подчиняются общим законам бытия. Разобраться во всех явлениях развивающейся действительности можно. И поэт размышляет, наблюдает, обобщает, делится с читателями своими поэтическими раздумьями.

Любителей поэзии, несомненно, порадуют и новые лирические циклы Дмитрия Ковалева. Этот интересный поэт долгое время работал как-то уединенно и скромно, не вызывая шумихи вокруг своего имени. Но вот прошли годы и даже десятилетия, отмечен полувековой юбилей, и стало видно, что упорная работа поэта Дмитрия Ковалева приносит заметные плоды. Немало впечатляющих стихов опубликовал он за последние годы.

С лирическими раздумьями Василия Федорова роднится Дмитрий Ковалев своим пристрастием к философским размышлениям и обобщениям. Его мысль часто сверкает молниями парадоксов. Его обобщения неожиданно возникают из тонко подмеченной, очень конкретной, насквозь земной (последний его цикл называется «Отчая земля») черточки, детали.

Знаток и ценитель русского сельского пейзажа, Дмитрий Ковалев в своих стихах щедро раскрывает пестрое изобилие красоты природы.

Как, например, живописно и прочувствованно изображено наступление ранней весны: молодая мать... в тепле ее коленей, как зерно в апрельской борозде,— грудной младенец-сын,

А за окном еще густая синь.
Березы письма пишут при
звезде.
И так им черная земля мила,
где лишь вчера еще метель мела,
так близок их желанный,
красный день,
и так свежо —
что хоть листву надень.

Найдены слова для неуловимых ощущений. Сопоставлены образы почти несопоставимые. Мать с грудным младенцем, и березы, пишущие письма при звезде,— чем они связаны? Общим настроением черной земли, пробуждающейся жизни. Связующий образ — зерно в апрельской борозде. Может быть, все это лишь та самая казенная и «аграрная тематика», над которой в последнее время немало потешались? Нет, конечно; каждый непредубежденный читатель видит: это подлинная поэзия, глубокое поэтическое проникновение в жизнь природы, органически связанной с жизнью человека.

Современный поэт открывает нам красоту природы, продолжая традиции классиков.

Стихи о деревенских заботах проникнуты пафосом гражданственности, но он не очень явен. А есть у Дмитрия Ковалева и открытый пафос.

Все позабыть возможно,
кроме,
как загубили Русь князья,
как, в распрях родину казня,
накликали столетья крови.
Не научил тот опыт.
С новью
враждует он, а не отпет...
Смущает суть мою сыновью
усобиц мелкость,
но не мелкость бед.

И рядом стихотворение с такой же прямой мыслью-декларацией: «Военных настоящих уважаю: скупых на слово, точных и прямых... В опасности — а не слыхать про них... Такие, падая, знамена поднимают...»

И стихи декларативные, и стихи живописные, и стихи философски-лирические одинаково хороши у Дмитрия Ковалева. Поэт творчески молод, в расцвете сил, в разливе замыслов. Но годы идут. В одном из новых стихотворений Дмитрий Ковалев полугрустя, полушутя говорит:

Никто не видит, как я молодею.
Все замечают, как я постарел.

Нужно всем увидеть молодую поэзию Дмитрия Ковалева.

У поэта Владимира Фирсова, которому еще не исполнилось и тридцати лет, совсем недавно стихи как бы разбивались на два потока — лирические о русской природе, о судьбе родной деревни и стихи историко-публицистического характера. В первом потоке стихов художественного качества было больше, чем во втором. Теперь оба эти потока удачно сливаются воедино, своеобразно синтезируются. Почти в каждом его последнем стихотворении большая взволнованность, эмоциональность, зримая предметность и напряженный пафос гражданственности. Публицистичность и историчность мышления поэта теперь органически сплавлены с его любимыми конкретными образами родной природы. И раньше у Фирсова велась речь о предках, о русской старине, о близких родичах — мужиках, и раньше его волновали исторические подвиги народов, боевая героика, и раньше он остро воспринимал всяческие препоны и заторы на путях современного искусства.

Теперь же все эти основные творческие поиски Владимира Фирсова выглядят более углубленными и весомыми. Громче, взволнованней звучит голос поэта, оценивающего то, что ему по душе, и то, что вызывает чувство негодования.

А по душе ему пчелиный голос луга, резкая прозелень берез, медовый запах стога, шуршащая в оврагах ольха, зори над озерами — словом, вся красота земная. Но это вовсе не говорит о том, что в поэзии В. Фирсова царит мир и спокойствие.

Существуют не только тяжелые воспоминания о пережитых трудностях. В одном из стихотворений, отрекаясь от безмятежных картин природы, он с болью пишет:

Так бы вот и шел по перелескам,
По лугам, по боровой глуши,
Удивленный потаенным
всплеском
За год натрудившейся души.
И душа живая оживает
Вдалеке от суеты сует,
Беды и обиды забывает,
Словно их и не было и нет.
Словно мне не приходилось
плавать
По болотам мерзкой клеветы,
Словно мне не приходилось
плакать,
Видя грязь на теле красоты...

В трагическом «Реквиеме» оплакивает поэт убитых солдат («умирали солдаты, каждый — с песней неспетой») и убитые, забытые песни. Он слышит и видит «поющих героев», он ловит «песни те, что служили верой вере солдатской».

Владимир Фирсов в новом цикле стихов «Вечерние луга» выступает в полную возможность своего поэтического дарования. И по-новому, лирически глубоко декларирует он «связь времен» и любовь к родной земле, к родной истории своего народа:

Пока живу,
Мне не забыть,
Кому я, собственно, обязан
Тем, что могу дышать, любить
На той земле, с которой связан
И глаз отцовской синевой,
И прямотой отцовской правды,
И кровью битвы за Непрядвой,
И кровью битвы под Москвой.
И суждено мне до конца
Все вынести с тобой, Россия!
Во имя памяти отца,
Что прожил жизнь во имя сына.

Итак, три поэта — три судьбы, отличные друг от друга поэтические манеры. Но есть то общее, что роднит их: верность лучшим традициям советской поэтической школы и в то же время неустанный поиск своего — и в содержании и в поэтике.

«Хороших и разных» поэтов в последние годы действительно стало больше. Поэтическая волна как бы набирает высоту и силу. Появляются новые литературные имена, новые стихи, растет их популярность в среде читателей. И вполне своевременно сейчас подвести некоторые итоги, используя все накопленное большим отрядом советских поэтов. Видимо, обо всем этом будет идти речь на большом форуме наших литераторов — Четвертом съезде советских писателей.

Слово полководцев

Битва за Москву! Это — название книги, и это ее главная тема. Институт истории партии МГК и МК КПСС выпустил сборник воспоминаний о великом сражении под стенами советской столицы осенью и зимой 1941 года. Да, за перо взялись маршалы и генералы, офицеры, партийные, советские и комсомольские работники — участники события, изменившего коренным образом обстановку на фронте. У стен Москвы впервые была доказана абсурдность гитлеровской теории молниеносной войны.

Среди авторов Г. К. Жуков, И. С. Конев, В. Д. Соколовский, К. К. Рокоссовский, М. Е. Катуков, А. П. Белобородов, И. А. Плиев и многие другие полководцы, чьи имена не только вчера и не только сегодня, но и спустя много десятилетий будут вновь и вновь возвращать нас к дням, когда Москва была в опасности, когда весь советский народ встал под ружье на защиту Отечества.

Немецкий генерал З. Вестфаль, описывая битву под Москвой, заметил, что «немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтожения».

Встают картины повседневного ратного труда. Мы как бы получаем возможность проследить, как рождается военная мысль, развивается, какие препятствия возникают на ее пути.

Незадолго до Великой Отечественной войны английский генерал Уэйвелл, говоря о современном полководце, заметил: «У него должен быть настоящий, живой интерес к человеку, он должен быть знатоком человеческой натуры...» Эти слова вспомнились нам при чтении многих глав книги. Авторы со всей откровенностью рассказывают о самых трагических моментах на войне и о том, как контакт между военачальниками и рядовыми, взаимопонимание, глубочайшая заинтересованность в победе помогали одерживать победы там, где они казались невозможными. Эта откровенность, доверие авторов к читателю, уверенность, что читатель все поймет, подкупает. Вот, например, рассказ о генерал-лейтенанте М. Г. Ефремове. Этот командарм известен нам еще с гражданской войны, он соратник Кирова, Орджоникидзе. Его имя услышали мы у стен Москвы в 1941 году при самых трагических обстоятельствах. Ефремов возглавлял ударную группу армии, действовавшей в глубоком тылу врага.

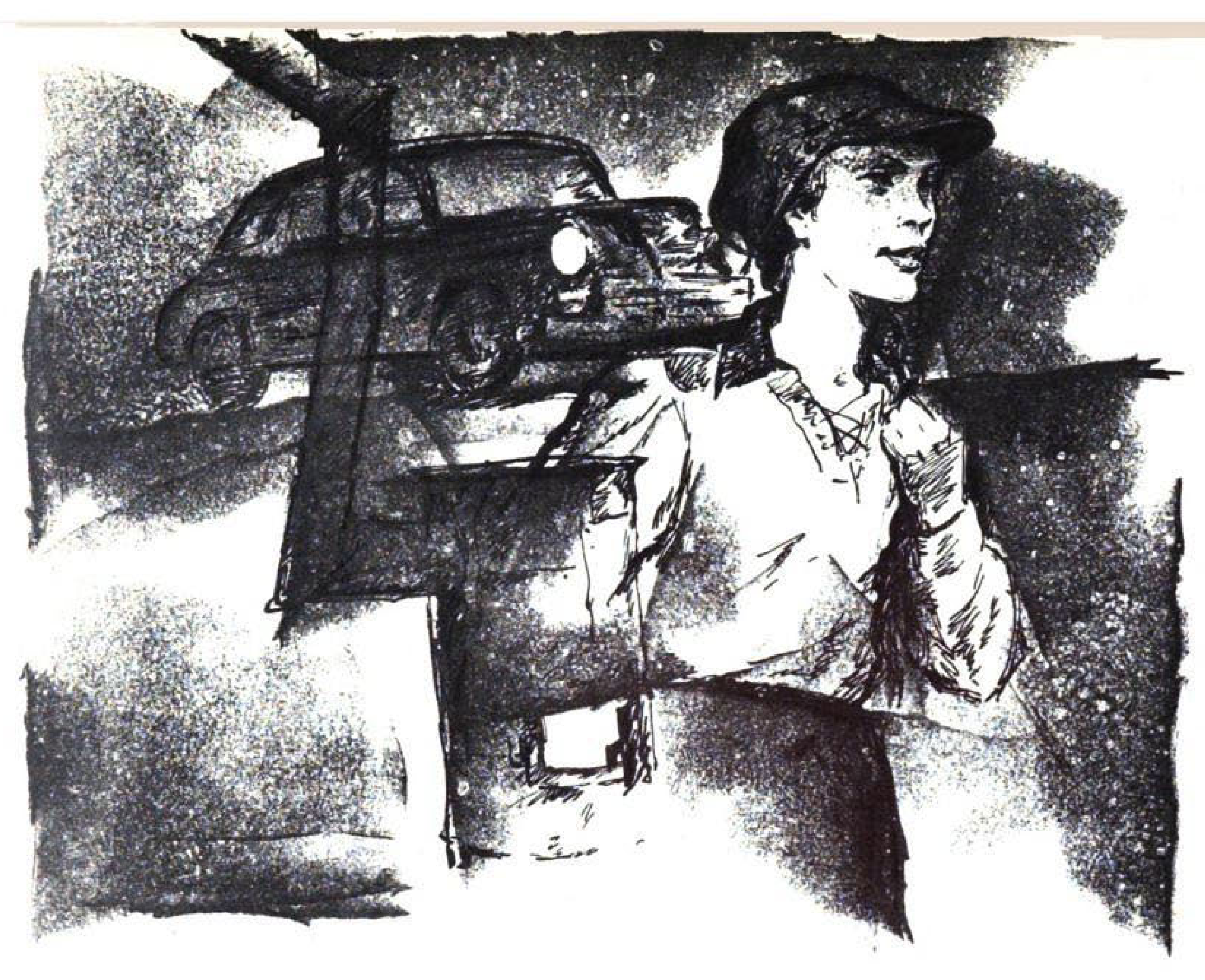
Прошло 25 лет, и сейчас авторы книги стараются проследить не только за хронологией битвы, но как бы критически осмыслить некоторые эпизоды ее.

Нет сомнения, что большой интерес вызовут страницы, посвященные деятельности партийных, советских и комсомольских организаций Москвы в те тяжкие дни. Мы узнаем о том, как готовились из комсомольцев разведчики для переброски в тыл врага, о дивизиях и полках народного ополчения, о столичных заводах, снабжавших фронт боеприпасами, одеждой, провизией.

Нет смысла пересказывать содержание книги. Нам лишь хотелось поделиться первыми впечатлениями, напомнить, как велик интерес к откровенному, правдивому разговору о тяжелейших днях в истории нашего Отечества, о днях, принесших первые зарницы победы, завершившейся в мае 1945 года в Берлине, у стен рейхстага.

З. ХИРЕН

«Битва за Москву». Издательство «Московский рабочий», 1966.





— Похвальное чувство! — съязвила Розина.

— Похвальное не похвальное, а иначе как же? Иначе все развалится. Пьян, пьян, а ты, Жорж, хоть раз видел на мне грязный воротничок? Смердело когда-нибудь от меня? А? Скажи, Жоржик?

— Только перегаром,— усмехнулся Кравцов.

И действительно, оба его товарища невольно и не без некоторого удивления подумали, что в конце концов Лугин, как выражаются в народе, был всегда «прибран», а в торжественных случаях даже щеголеват. И сейчас из кармана его пиджака выглядывал белый накрахмаленный платочек.

— Нашего брата в кулаке держать надо. По-хозяйски! А то все мы в дерьмо расплывемся... не иначе.

— По-хозяйски! Обожаете вы хозяев в любой форме и на любом месте! — вскипела Розина.

— Ну вот, я тебя здесь и высажу,— ловко, как он все делал, подводя машину к тротуару у метро, сказал Лугину Кравцов.— Спеши под свой семейный кнутик!

— А ты, Жорж, лучше не храбрись! Небось, и у тебя свой имеется! — с внезапной отвагой бросил Лугин.

Обычно он побаивался Кравцова и как внутренне сильного человека и как начальника, по его мнению, лишь из прихоти державшего его в своей мастерской.

— Апельсинчик-то не позабудь! — молодо расхохоталась Ева.

Неожиданно очистившись от хрипоты, голос ее прозвучал с такой чистотой и непосредственностью, что на Горохова пахнуло былой их юностью. Ему вспомнился и запах соснового бора и привядшего березового листа в шалаше, где они, юнцы из уральского молодежного отряда, сходились и брали задания у старого, как им тогда казалось (тридцать лет!) опытного конспиратора Ефима. Фамилии его никто не знал.

В конце концов колчаковцы его все-таки поймали. Несколько дней их главарь висел на пыльной площади у кафедрального собора...

Приподняв свою велюровую модную шляпу, игнорируя безудержный смех Розиной, Лугин отвесил общий вежливый поклон.

— До завтра, Жорж! — попрощался он нежно.

— Всего наилучшего! — кивнул Кравцов, нажав на стартер.

— Сколько вот таких гадов расплодилось! — вздохнула. Розина.— А вы ему «наилучшего»!

Несколько минут ехали молча. Снова свои собственные мысли увлекли Федора Максимовича. И все же порой, особенно не вникая в смысл слов, он слышал голоса Кравцова и Розиной. Очевидно, не находя ничего странного ни в обличье, ни в словах спутницы, Кравцов серьезно возражал:

— ...не совсем справедливы. Работать этот Лугин умеет, и, представьте себе, порой не без искры. Знаете, как хорошо у Толстого: люди, как реки... То глубоко, то мелко, то мутно, то чисто. Да и течение у всех нас разное...

— Не река это, а лужа. Притом мелкая.— Голос женщины звучал непримиримо.

Затем, словно вспомнив про то тяжкое, к чему все ближе и ближе подвозила их машина, Ева осторожно оглянулась на Горохова.

— Скоро приедем, Федя...

Но Кравцов продолжал развивать свои, как видно, близкие ему мысли.

— А дело творческое для нашего брата,— пожалуй, самое главное. Как, Федор Максимович? — точно разгоняя облако грустного его отчуждения, добро обратился он к Горохову.

Но тот в странной смещенности памяти представлял себе, что сейчас они подъедут к деревянному одноэтажному домику у Преображенской заставы, где прошли его лучшие студенческие годы, и там, на порожке, в тапочках на босу ногу с косой через плечо встретит его Шура. Молча (они не любили внешних проявлений нежности) улыбнутся они друг другу, потом пройдут в горницу и сядут за круглый, крытый мещанской, вязаной, в потускневших розанах скатертью стол. Осторожно, словно к чуду, притрагиваясь друг к другу, они будут тихонько говорить о многом, очень многом. Но Шура не забудет ни про чай, ни про картошку. Она замечательно умела ее печь в «буржуйке». Получалось совсем как в настоящей русской печи... И даже хозяйка, ворчливая старушка, разрешала это Шуре.

И все же вопрос Кравцова прорвался к нему через тепло воспоминаний. И если сейчас еще что-нибудь могло болью отозваться в его сердце, то только этот вопрос. И Кравцов словно это почувствовал:

— Вот сдам проект экспериментального (он имел в виду порученную ему застройку) и снова полечу в пустыню. Замыслил еще один городок и тоже у нефти. Как, теперь поехали бы со мной?

Горохов не ответил. Он ведь помнил, что некогда опальный Кравцов предлагал ему совместную работу по созданию «белого города» в песках Средней Азии и что тогда, не без влияния Инны Васильевны, он отказался. Сейчас предложение прославленного Кравцова показалось ему неискренним, снисходительным. А может быть, он угадывал его боль?

— Ну, мне эти пески теперь не по зубам,— уклоняясь от местоимений (когда-то они были с Кравцовым на «ты». А связывал их больше всего общий друг — погибший Женька Донцов).— «Стара стала, слаба стала...» — с восточным акцентом произнес Федор Максимович что-то и когда-то слышанное и удобное.

— Ну, ну, не надо прибедняться! — также избегнул местоимения Кравцов.

— Да и жара там дьявольская!

— Начинали мы до рассвета, еще звезды на небе, а в самый накал где и как могли укрывались... Честное слово, было здорово! И душ даже соорудили; правда, вода солоноватая, но блаженство. А жара — это ничего.

Оглянувшись и блеснув крепкими зубами, Кравцов засмеялся.

— Во всяком случае, на качестве работы жара не отразилась,— искренне сказал Горохов.

И перед ним возник известный и по снимкам и по макету, а позднее и по личному впечатлению кравцовский «белый город». И хотя он высился среди песков, где добывали нефть, ничего грубо-утилитарного, скучно-казенного не было в легких его очертаниях.

Действительно, почему он тогда не поехал с Кравцовым? Прежде всего жизнь с Инной потребовала полной оседлости. Почти с самого начала совместной жизни она твердо и уверенно стала налаживать их быт. Пришлось срочно менять квартиру, так, чтобы отделить ее взрослую дочь Галю. Дочь от самого первого брака, с неким Готлибовым. Затем, с солидной приплатой, они нашли ту самую уютную квартирку, где живут и сейчас. Это также потребовало много забот и трудов. Да, хлопоты, домоустройство... И многое другое, что в конце концов определило его путь в ином, чем у Кравцова, направлении... Конечно, ни в его звании референта одного из крупных министерств, ни в активной общественной работе ничего зазорного нет. И все же Кравцов на-

---

Окончание. См. «Огонек» № 48.

помнил ему о том, о чем не надо бы, что он считал для себя давно погребенным...

А сейчас о другом, о другом...

Словно подтвердив эту мысль, машина круто свернула налево, и в опущенное Гороховым стекло повеяло сырой свежестью осеннего парка. Сокольники... А тот домик у Преображенской площади с мещанской вязаной скатертью, которой так гордилась старая хозяйка, остался где-то далеко в стороне...

— Левее, левее, там, где Второй Олений просек! — властно командовала Розина.

Почему Шура живет здесь? Конечно, мысль о былом их гнездышке у Преображенки — дикость. Теперь на этом месте, наверно, стоянка такси или ларек с мороженым. Но ведь, уходя, он оставил ей и Ваське вполне сносную двухкомнатную квартирку в Телеграфном переулке...

Впрочем, он слышал, что в Сокольниках есть больницы. Может быть, она в одной из них?

— Ева, почему Шура переехала с Телеграфного? — робко спросил Федор Максимович.

— Тяжело было оставаться там одной,— не оглядываясь, бросила Розина.

— А сейчас?

— Сейчас? Сейчас я с ней.

А в машине, словно наливали в нее прохладное терпкое вино, все гуще и гуще пахло опавшей, тлеющей листвой осеннего парка.

Изредка мимо, как большие коробки со светом, проносились последние, почти пустые автобусы.

Вскоре перед ними выросли самые обыкновенные серые корпуса.

— Стоп! — сказала Ева.

Все трое вылезли из машины.

— Спасибо, товарищ, выручили! — Розина тряхнула руку Кравцова.— Ругаете меня, небось?

Валерия **ГЕРАСИМОВА**

Рассказ

Рисунки Л. ХАЯЛОВА.

й дом

Кравцов посмотрел на дрогнувшее в улыбке, как бы иссеченное лицо.

— Судя по тому, что вы мне сообщили, мои шоферские способности сегодня, может быть, еще пригодятся. Я подожду здесь с полчаса. А если потребуется, и больше,— предложил он совсем просто.

— Нет, что же... поезжай, Гера,— называя его, как в далекие годы, заторопился Горохов.— Ведь у тебя дома, верно, свой кнутик? — попробовал он пошутить.

Кравцов не принял шутку.

— Я буду ждать,— повторил он твердо.

5

Они уже поднялись с Евой по лестнице самого обыкновенного — из новостроечных — жилого пятиэтажного дома и наконец остановились у дверей, обитых черным дерматином.

— Слушай, Федор Максимович,— медленно и внушительно сказала Ева.— Она ничего не знает. Официальная версия — послегриппозное осложнение: тяжелое воспаление придатков. Понял?

Федор Максимович кивнул.

— И если ты хоть одним словом, хотя бы намеком... или, чего доброго, нюни распустишь... Смотри!.. Главное — бодро и весело, весело и бодро! Обещаешь?

Глаза Евы сурово сверкнули. Горохов еще раз кивнул.

Первое, что он увидел в маленькой, полутемной передней,— была надутая кислородная подушка; значение ее он хорошо знал. Самому в сорок втором подносили к губам в фронтовом госпитале...

Но тут в прихожую выбежала самая обыкновенная рыже-пестрая кошка и с человеческой любознательностью уставилась желтыми глазами.

— Подожди немного, я предупрежу,— шепнула Ева.— Нельзя же так... сразу...

— А вообще почему ты решила, что мое присутствие...— вдруг впервые спросил и ее и самого себя Горохов.

— Уж это мне лучше знать! — отрезала Ева.

Она торопливо вышла, а кошка с прежней пытливостью смотрела на человека.

В полумраке комнаты, в которую он через несколько минут вошел, не ощущалось специфического запаха лекарств. Несмотря на ночную сырость, окно было широко распахнуто, и в него вливалось все то же прохладное вино осеннего увядания.

Уже не думая о том, зачем и почему он здесь, человек шагнул к узенькой кровати, где кто-то лежал. У кровати стояла тумбочка. Прикрытая газетным листом настольная лампа под зеленым абажуром.

В этом, скорее всего умышленном, полумраке он не сразу рассмотрел то, к чему так стремился и что страшился увидеть...

Там, где, по его расчетам, должна была покоиться голова больной, он внезапно увидел огромный, безмолвно разверстый, но как бы кричащий рот...

Сделав невероятное усилие, Федор Максимович шагнул ближе. Тут от порыва ветра, ворвавшегося в комнату, с зеленого абажура соскользнула газета, и он ясно увидел не разверстый рот, а самую обыкновенную вмятину на подушке, а потом и лицо ее, Шуры.

Ничего поражающего, а тем более страшного в этом лице не было. Только удивительная бескровность и особенный взгляд. Какой? Он не мог бы определить. Но он-то и говорил о главном, о непоправимом.

Он уже не думал ни о приказе «бодро, весело», ни о своем недавнем ужасе, ни о том, что удобно и что неудобно... Ему лишь захотелось молча приникнуть к тонкой руке, что бессильно свисала из-под одеяла.

— На, получай своего обормота! — как бы почуяв возможность чего-то неположенного, действительно «бодро, весело» воскликнула Ева. Она даже позабыла снять свой оранжевый колпак, и в полумраке он сиял, как никому не нужное игрушечное солнце.

— Сядь сюда, Федя,— вдруг сказал тихий и, как ему показалось, тоже в чем-то самом главном изменившийся голос.

Нежная, бескровная рука поправила подушку, и то, что на мгновение показалось ему исковерканным лицом, бесповоротно исчезло.

Робея, он сел на старомодный венский стул. Очевидно, стул был преднамеренно придвинут поближе к кровати.

Мучительная неловкость не то за свое уже явственное брюшко, не то за свой модный костюм с узкими брюками или за поблескивающее кольцо на безымянном пальце (Инна Васильевна объяснила, что обручальное кольцо следует носить именно на этом пальце) — все это заставило Горохова поднять газетный лист и снова прикрыть настольную лампу.

— Не надо,— сказала Шура. Она не сделала ни малейшей попытки отклонить свое лицо от света.

И сейчас он видел не только ее все еще прекрасные глаза, а почти совсем седые, особенно у корней, волосы и обтянутые, словно присохшие к деснам губы.

Содрогаясь, он вспомнил слова Евы о том, как много пережил этот человек «не без твоего содействия»!

И все же общая красота всей головы, думающего лба и глубина взгляда — все это осталось! Да, осталось!

— А ты не очень изменился,— сказала больная, и в голосе ее прозвучала поразившая его ласка.

Еще бы! Жизнь у него была — особенно последние годы,— как выражается Лугин, «не пыльная».

— Процветает,— едко вставила Розина.

— Перестань, Ева... у каждого свое... трудное,— не меняя внимательного, ласкового взгляда, сказала Шура.

Но тут в комнату вбежала все та же кошка и снова уставилась на людей.

— Вон отсюда, проклятая! — Как бы воспользовавшись удобным случаем, Ева схватила кошку и стремительно вышла из комнаты.

6

Несколько минут они молчали, ни о чем не думая, ничего не вспоминая. Вопреки всему: и грозной кислородной подушке в прихожей и этой бескровной руке — глубокое успокоение точно снизошло на них. Для Федора Максимовича все предшествующее, во всей его беспокойной пестроте и напряженной суетности, перестало существовать, и наконец-то пришло такое, что должно было быть...

— Скажи, Федя, тебе действительно хорошо живется? — наконец спросила Шура. Эта манера задавать слишком прямые вопросы была ей всегда свойственна.

Но он давно уже был в окружении людей, которые чурались подобных беззастенчивых в своей простоте вопросов и умели заменять их чем-то более приличным и обтекаемым.

Порой он через день или два угадывал истинный смысл облеченного в мягкую, а порой и юмористическую форму, но разящего намека Инны Васильевны или постигал то или иное бесповоротно ею принятое деловое решение.

Вероятно, вследствие этой привившейся и ему привычке да еще памятуя о «бодро, весело», он ответил, что на свою жизнь — хотя далеко не все в ней сбылось — пожаловаться он никак не может.

— Да и к тебе я, как говорится, попал «с корабля на бал»,— чтобы как-нибудь оправдать возможное дуновение выпитого на банкете, улыбнулся он.

— Какой же бал?

— Чествовали некоего достопочтенного старца, он же «священная борода». Да ты, наверно, помнишь Евграфа Петровича?

— Чугунова? — тихо спросила больная.

— Да, Чугунова! — радуясь тому, что память у нее еще неплохо работает, бодро воскликнул Федор Максимович.

— А, это тот, что Женю убил,— совсем просто сказала Шура.

И хотя Горохову мгновенно вспомнилась та минута, когда ему нестерпимо захотелось подойти и дернуть юбиляра за живописную бороду, сдаваться он не пожелал.

— Это ты уж слишком,— поморщился он и успокаивающе погладил тонкую свесившуюся с кровати руку.

— Не забудь, что Евгений находился под влиянием винных паров,— неожиданно употребил он старомодное, каких-то чеховских времен выражение.— Вот в состоянии опьянения он и...

— Ты же видел акт вскрытия. Это не подтвердилось,— тихо напомнила больная.

— Допустим. Но он же пил?

— Да. Пил. Особенно последний год, после проработки, организованной этой самой «священной бородой». Обвинили его и в презрении к национальному искусству, и в преклонении перед... Да что говорить! — Шура даже слабо махнула рукой.— После этого Жене запретили довести стройку до конца, изъяли весь его проект и передали дело его жизни, можно сказать, его мечту, в чужие, бездарные руки... одному из подхалимов этого самого Чугунова. Когда же Женя так поступил, все свалили на плохую технику безопасности.

— А она, Шурок, и не была на должном уровне,— как только мог ласково сказал Федор Максимович, заметив, что на лбу больной слезинками проступили капельки пота.

— Нет. Я сама туда поехала. Видела ограждения. Надо было проявить почти акробати-

ческую ловкость, чтобы через них перелезть. Как же пьяный человек мог...

Она, не договорив, оборвала.

А в наступившей напряженной тишине Федор Максимович расслышал те самые хрипы, о которых упомянула в своей записке Ева.

— Знаешь, Шура, у каждого свои слабости. Времена меняются. И Чугунову в те годы наверняка искренне казались чуждыми и даже враждебными творческие тенденции Евгения. Раздражало, как он считал, подражание Корбюзье и подобным... А характер у старика, конечно, несахарный. Впрочем, Шурок, зачем ворошить прошлое?

— Списано в архив... за давностью,— медленно, как бы про себя произнесла больная. И Горохов узнал эту знакомую по былым их ссорам многозначительную и неприятную ему интонацию.

Вспышка духовной близости, что согрела первые минуты их встречи, поблекла. Между ними явственно встало то, что навсегда разделило их жизнь.

И все же он едва сдержался, чтобы не рассказать, как только что на веселом банкете сам с болью вспоминал Женьку...

Но это могло бы вовлечь их в большой, волнующий и совсем неуместный при данных обстоятельствах разговор, и он ловко соскользнул на удобную, наезженную дорогу: «у постели больного».

— Скажи, Шура,— на этот раз он не решился назвать ее ласкательно,— скажи откровенно: не надо ли тебе чего? Профессор Шрамм — мой приятель, и он мог бы...

— Не надо профессора,— покачала она головой.

— Ну, тогда можно отличную путевку. Это мне нетрудно сделать... Есть милейшая женщина Агния Михайловна Левшина. Она в два счета поможет достать любую и в Кисловодск, и в «Горное солнце», и даже в «Архангельское»... Ну, что ты опять хмуришься?

— Не надо, Федя,— опять совсем просто и даже примиренно, но как бы отстраняясь от него, ответила Шура.

— Не надо? Но неужели тебе так-таки ничего не надо? — Федор Максимович не без соболезнования оглядел комнату с ее лампой под канцелярским абажуром, с этой безликой, утилитарной обстановкой.

Из старых, знакомых ему вещей он узнал только портрет Ленина, где тот попросту, примостившись на ступеньке, напряженно обдумывая, заносит что-то на листок... Да еще выцветший пейзаж Левитана. Невольно подумалось: а где же некоторые недурные вещи, что когда-то он успел подарить ей? Например, старинное овальное зеркало в ценной оправе или красного дерева секретер? Ничего этого не было. Хорошо еще, что, оживляя всю эту тусклость, в окно врывался свежий осенний ветерок.

— Чего бы все-таки хотела? — уже совсем добро спросил он.

— Хочу кошку,— неожиданно улыбнулась Шура. И сразу же напомнила ему то потаенное, по-настоящему женское, что он знал в ней, что до сих пор вспоминалось ему в самых его радостных, заповедных снах...

Федор Максимович читал Хемингуэя. В обществе Инны Васильевны о нем частенько говорили. И, конечно, он понял, что речь идет совсем не о том реальном, рыже-пестром назойливом существе, что куда-то, вероятно, на кухню, уволокла Ева.

— Кошку под дождем? — улыбнулся он.— Эту кошку все хотят. Все женщины. Мифическую кошку! А пропускают то простое и реальное, что есть и что, по правде говоря, по-настоящему им и нужно!

— А что же им нужно? — спросила Шура, и что-то блеснуло в запавших ее глазах.

— Ну, о трудовой и общественной деятельности я не буду говорить. Это и так понятно. Особенно тебе. Этого-то у тебя было всегда с избытком. В сорок девятом я читал в газетах, что ты Трудового получила...

— Этого, положим, могло бы и не быть,— чуть улыбнулась Шура.

— Конечно, кое-кого обходят, бывают неувязки. Но в данном случае...

— Мы ведь не об этом...

— Да, мы не об этом. Я говорю о других вещах, тех самых, которым мы, по молодости лет и в силу так называемого комсомольского задора, должного значения не придавали... О доме, о семье...

— О семье? Но... какой? — еще пристальнее всмотрелась в него больная.

Разговор снова приблизился к чему-то небезопасному.

Но Федор Максимович, считавший, что в своей жизни счастливо избег многих бед — хотя бы вот такого, как у Шуры, одиночества, болезни или подобной тусклой комнаты с несколько устаревшим Левитаном,— решил не отступать.

Тем более, что сравнительно с предыдущей тема разговора представилась ему довольно нейтральной.

— Эх, Шурок, Шурок,— вздохнул он,— всего у тебя, родная, было: и ум, и красота, и трудолюбие, и идейность... А чего-то самого нужного не хватало!

— Нужного? Для чего... нужного?

— Для жизни, черт ее побери, для самой обыкновенной человеческой жизни! Ведь она-то существует, существует!

В комнату стремительно вошла Ева.

— Пора, пора, Шуренция! Встреча встречей, а выполнять предписания врача...

Накапав лекарство в рюмочку, она поднесла ее к бескровным губам.

— Спасибо. После,— не слушая Еву, сказала Шура.

— Смотри, прослежу! — грозно нахмурилась Ева.— Кстати, я выходила к этому... товарищу.

— Кравцову,— подсказал Федор Максимович.

— Ждет, как миленький. Только сказал, что домой за папиросами съездит, а потом вернется... У меня, к сожалению, последняя.— Ева щелкнула по помятому коробку.

В комнату снова вбежала любознательная кошка, и снова Ева утащила ее куда-то.

— Тебя сгубил,— начал Федор Максимович, но, взглянув на рюмку с лекарством, мгновенно поправился,— тебе многое напортил твой максимализм. Все или ничего! Черное или белое! Никаких полутонов!

— А знаешь, я где-то читала, что если смешать черное и белое, выйдет только одно — грязное...— Шура насмешливо прищурилась. И эта манера была ему также знакома.

— Конечно, ты всегда была молодец! По заветам Коли Островского! — невольно повторил Горохов строчку из записки Розиной.— Я о другом... Скажи, ну, скажи, почему ты была такой нетерпимой?

— Нетерпимой?

— Не всегда, не всегда, конечно! Помнишь, как славно мы жили у Преображенки? Помнишь, какие мальвы мы выращивали в палисаднике у той старушки? Голодраные студенты, а было совсем как на дачке! И на Телеграфном первые годы...

— Оставь, Федя, не надо...

— Нет, надо! Через столько лет мы, наконец, встретились...— Федор Максимович вовремя удержался, едва не сказав «в последний раз».— Так почему же нам не поговорить искренне? Не подвести, так сказать, некоторые итоги? Ты не простила мне ничего... В конце концов, чем была моя история с Инной Васильевной? Самой заурядной. Ну, хорошо, увлечение, даже близость, если угодно уж так уточнять. Но я же не уходил от тебя. Я же по-прежнему любил тебя, как любил всегда, всю жизнь. А как я относился к сыну?

— Но ложь? Разве с ней можно мириться? — негромко спросила Шура.

— А я вот до сих пор не представлю себе тебя, гордую, красивую, со своим собственным именем в науке, на ролях мелкого ревнивого соглядатая! Значит, и у тебя, как у всех нас, грешных, теория расходилась с практикой!

— Почему соглядатая? Ведь Инна Васильевна сама пришла ко мне и, как выражаются, раскрыла глаза...— чуть усмехнулась Шура.

— Что? — Федор Максимович вскочил со стула.— Пришла?

Мысль, что философски спокойная, тактичная Инна оказалась способной на подобное, его ошеломила. Но он знал, что Шура никогда не говорила неправду.

— Жизнь есть жизнь, как ты сказал. И каждый борется за нее, как умеет.— Шура спокойно улыбнулась.— А к тому же сообщила, что ждет от тебя ребенка...

— Но его же не было! — возмутился Горохов.— У нее есть дочь, Галя... От первого брака, от этого Готлибова, теперь уже замужняя.

Ему вспомнилось, с каким завидным хладнокровием Инна *освобождалась* (она применяла именно этот термин) в тех случаях, когда действительно возникала реальная возможность материнства.

И это уже во времена окончательной ее победы над Шурой — победы, закрепленной не только в загсе, но, по настоянию Инны, продемонстрированной даже этими золотыми, согласно моде, тоненькими колечками.

— И ты ей поверила?! — горестно воскликнул Федор Максимович.

Шура задумалась.

— Не знаю... Кажется, не очень. Но, конечно, тот последний год я примерно знала, что с тобой происходит что-то для меня оскорбительное. Но есть такое слово, которое я — как ты выразился, с комсомольским задором — всеми силами души отрицала, вернее, подавляла в себе: это ревность. Мне казалось, что это позорно для людей нового общества...

— Все это книги и книги! Сплошная политграмота! И ты только из-за того, что предполагался ребенок?..

Шура помолчала, подумала.

— Нет, Федя, не поэтому. Так было бы хорошо именно для книги. Она, правда, не один раз приходила ко мне и все плакала, просила. А я понимала, что это цепкая и по самой своей сути примитивная мещанка. И я думала, что если тебе действительно ценно и дорого *такое*, то тебе и лучше быть с *таким*. Если же я ошибаюсь, то ты сам все поймешь, убежишь от нее. Но ты не убежал, а прижился...— Шура грустно улыбнулась.

— Непостижимо! — Федор Максимович зашагал по комнате.— Но, послушай, ведь ты не боролась, не сделала ни малейшей попытки подраться за меня!

— Но разве в таких случаях решает... драка? — спросила больная.

Горохов только отмахнулся.

— Ну, конечно, не на кулачках же... Бороться надо женским умом, тактикой, если хочешь, даже ловкостью. А ты в самый разгар моего так называемого романа взяла и укатила. Вообще-то профессию ты выбрала такую, что не для семьи. Но это особый разговор... А в свою геологическую экспедицию ты тогда махнула куда-то на край света, в Заполярье — на какой-то не то Лисий, не то Медвежий нос... Ведь не случайно? Хоть теперь скажи: не случайно?

— Не случайно.

— Идеализм какой-то! Совсем по Чернышевскому. Сны Веры Павловны...

Шура улыбнулась, не ответила. Это еще больше подогрело Федора Максимовича.

— Но ты пойми, пойми разумно: мужик не может быть один, он замечется... расплывется в дерьмо,— выскочило у него лугинское изречение.— Это и началось со мной... Бабенки, пьянки... А наутро собачья тоска и тошнит. Тогда Инна меня окончательно схватила и су-



мела закрепить за собой. И, знаешь, я снова почувствовал себя человеком!

— Человеком? — Шура подняла на него глаза.— Да. С тех пор я встречала твое имя в печати... Но всегда: выступал, открывал, хоронил, приветствовал, но никогда: строил...

— Что же ты, отрицаешь все общественное?

— Ничего я не отрицаю,— устало сказала Шура.— Но после этой истории с Женей ты просто испугался. И пошел, где спокойнее. А ведь были у тебя и размах и дарование... Но оставим это. А то выходит: ты приехал, а я с нотациями...

— А ты все-таки выпей.— Точно очнувшись, Федор Максимович поднес к бесцветным губам остро пахнущую рюмочку.

Больная хитровато улыбнулась.

— А это вот сюда.— Она ловко выплеснула лекарство в стоявшую на тумбочке простую глиняную крынку. В ней красовались багрово-бронзовые осенние кленовые листья.

Федор Максимович попытался схватить ее за руку, в глазах его был ужас, словно эта рюмочка еще могла бы все изменить, все спасти и в ее и в его жизни.

— Неужели ты думаешь, что я не знаю? Пусть уж Ева. Как это она? — Шура добро усмехнулась.— «Бодро, весело!»...

— Но Шрамм, он сможет...— заторопился Федор Максимович.— Он академик.

— Ничего он не сможет. Ведь кое-что я понимаю, и не только в геологии. Восемнадцать облучений в больнице, начавшийся лейкоцитоз и выписка. Уже не операбельна.

Они замолчали.

— Слушай, Федя, вон там, в письменном столе, в среднем ящике, последние Васины фотографии с фронта. В большом конверте... Возьми.

Не было раны, которой она не коснулась бы...

Но странно, сейчас ему казалось, что под докучливое повизгивание, пестроту и суматоху как-то ненужной, но давно завертевшей его бесцельной карусели все, о чем она говорила, и было самым главным, самым нужным для него. И что ему даже в лучшую пору его удач и даже своеобразного удобного счастья с Инной всегда неизменно нужно было знать, что вот эта женщина с поседевшими волосами где-то есть на свете, что когда-нибудь он сможет прийти к ней, взглянуть, а может быть, и сказать хоть одно слово... Хоть бы одно!

Словно какие-то двери широко распахнулись перед ним, и за ними было не только страшно, но и светло. Странно светло...

— Шура, родная...— только и сказал он и приник к ее плечу головой.

И как когда-то давно, когда он был еще «Чубаткой», она стала тихо перебирать поредевшие его волосы.

— Может, и правда я была глупа, не знаю. И Васе, как способнейшему на физмате, наверно, можно было бы достать броню. Ведь ты тогда предлагал. Помнишь, через Ямщикова? И я все думаю об этом... думаю... и до последней минуты буду думать... Но... каждый остается самим собой... И Ева, что купила эту страшную шляпу, как доказательство, что «мы не аскеты», и ты, как всегда, добрый, но знаешь, Федя, не очень сильный человек... и твоя жена, которая считает, что невозможно быть без мужа... без подходящего мужа. Знаешь, хотя там, в Заполярье, мы трудились вовсю, а ведь одолевали и меня самые обычные бабьи чувства. Часто я думала, что ты по-своему прав.— Бескровное лицо Шуры чуть окрасилось.— Ведь она красивее, да, гораздо красивее меня...

— Нет, Шура, клянусь тебе, нет! Даже сейчас ты...

— Не надо, Федя. Вот этого уже совсем не надо!.. И если я могу еще о чем-то попросить тебя, то знаешь, не приходи сюда... потом.

— Когда потом? — похолодел Федор Максимович.

— Ну, потом,— чуть раздраженно, как говорят с играющим под детскую наивность взрослым человеком, сказала Шура.— Я и захотела с тобой попрощаться, когда я еще... когда я... когда на меня еще можно смотреть... А теперь скоро подъедет твой товарищ, и ты поскорее...

— Нет, Шура, нет! Я буду с тобой до утра! Сколько ты захочешь!

Больная внимательно, точно на невидимых весах что-то взвешивая, всматривалась в мужское взволнованное лицо.

— Это тебе сейчас так кажется, Федя,— беззлобно сказала она.— Да тебе и не позволят. Ведь тебе, наверно, кое-что разрешалось? И это тебя устраивало. Но ко мне никогда. Верно? Хотя с женской точки зрения я уже давным-давно безопасна...

Так же беззлобно Шура усмехнулась.

Признаться, не склонный к различного рода углублениям, об этой странности со стороны столь разумного существа, как Инна Васильевна, Федор Максимович никогда особенно не раздумывал. Вероятно, опасалась, что Шура расскажет о ее бесцеремонной и унизительной борьбе за него и, конечно, о лжи: о якобы предстоящем материнстве.

И вдруг Горохова осенила простая и ясная мысль. Среди всех его, а подчас и весьма горячих, увлечений только одна из женщин была по-настоящему страшна Инне. Вот эта лежащая перед ним, с запавшими глазами, с обтянутым ртом. Что в нем самом среди суматохи, мелкой озабоченности, а порой даже фиглярства — при внешнем солидном представительстве — всегда подспудно жило стремление к иному. К тому, с чем он когда-то смело начинал свою творческую жизнь, к тому, чем горел, такой, как Женя, как Кравцов. А все это самое главное невидимо сливалось с единственно родным ему на земле, умиравшим сейчас человеком...

И не простой женской ревностью или даже



страхом разоблачения руководствовалась цельная в своем инстинкте самосохранения Инна Васильевна. А чем-то гораздо более значительным!

Больная внимательно и добро оглядела Федора Максимовича.

— А за тобой, видно, хорошо смотрят.— Шура употребила именно это народное словцо.— И костюм красивый и галстук подобран со вкусом,— задумчиво сказала она.

И от этой ли оценки, свободной от какой-либо «бабской» узости — такой естественной в подобном случае, а главное, от искренней радости за него, у Федора Максимовича почти до полного удушья что-то сжалось в груди.

— И дома у тебя, наверно, красиво? — спросила Шура.

— Да, неплохо,— пробормотал Горохов.

— И это... хорошо,— все с той же доброй задумчивостью сказала Шура.

Дыхание перехватило еще туже.

В комнату стремительно вошла Ева.

— Подъехал этот... товарищ. Как видно, стесняется сигналить. Я увидела машину в окошко... Да что это у вас такие вытянутые лица? — грозно взглянула она на Горохова.— Это ты все, наверно...

— Нет, я ничего... я так,— все еще оглушенный странностью и ценностью своего недавнего открытия, пробормотал Федор Максимович.

Ему надо было бы бежать от смерти, а теперь он видел, что убежит от жизни.

— Прощай, Федя,— сказала Шура. Она с трудом приподнялась, и он почувствовал на своей щеке прикосновение ее чуть дрогнувших, холодных губ.

Нет, нет! Это было невозможно, недопустимо!

Он всхлипнул. Но Ева решительно втянула его в какую-то дверь, и они очутились в самой обыкновенной кухоньке — с кастрюлями, с метелкой и даже с хозяйственной косицей луковиц на стене.

— Это ты нагнал на нее такую панику! Всегда был слабым, пустым, легкомысленным! — зашипела Ева.— И недалеким, да, недалеким человеком! Тебя не интересовали старые товарищи! А она все делала, если с кем-нибудь из нас случалась беда. Помнишь Ольку Черненко из нашего отряда? Шура загнала замечательное зеркало... Помогла ей в трудное время. А мне... Да что говорить?

И, растянув все свои морщины, Ева грубо, отчаянно зарыдала.

Та же пестрая кошка, подойдя, потерлась о худые ее ноги.

За окном осторожно просигналили.

— Уезжай! Я думала, твой приезд подбодрит, придаст ей силы, а вышло... черт знает! Уезжай!.:

И тут произошло неожиданное — то, чего не предвидела ни разгневанная женщина, ни сам этот солидно-полный, лысеющий человек, ни даже любознательная кошка.

Он тяжело опустился на простой, некрашеный табурет:

— Никуда я, товарищ Розина, не поеду. Буду здесь... до...

Горохов не договорил.

Ни буря, что, вероятно, ожидала его там, что почему-то называлось его домом, ни фантастические пересуды и даже возможные неприятности по службе — теперь ничто не могло его остановить.

Сейчас он выйдет и кратко скажет все Герке Кравцову,— ведь он тоже совершенно неожиданно стал для него снова просто Геркой — товарищем по работе. Тот все поймет. Обязательно поймет! С Геркой связывалось, пока еще не совсем четко и определенно, и его будущее: где-то далеко среди безбрежных песков замерещились белые города...

Федор Максимович решительно встал, вышел на улицу. Там моросил и моросил осенний дождь.

Вскоре послышалось шуршание шин отъезжающей машины.

Когда Федор Максимович вернулся, его лицо было в каплях, но это не были слезы.

— Ева, дорогая, не можешь ли заварить чайку? Только покрепче,— уже совсем по-домашнему сказал он.

290 человек не вернулись домой с войны. Это памятник им.



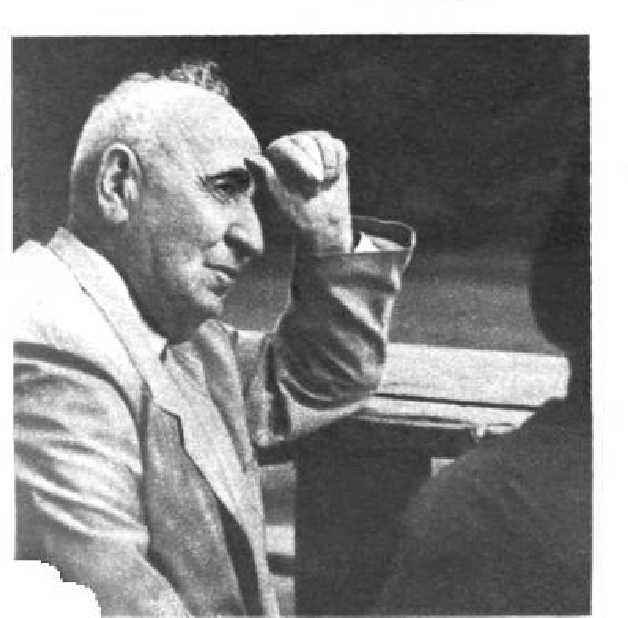
РОЖДЕННЫЕ В БУРЮ

О ЧЕМ МЕЧТАЛИ В ЗЕМО-К

Ия МЕСХИ

Фото Г. ХАМАШУРИДЗЕ, И. РОМАНОВА.

Председатель Совета коммуны Коба Чохели.



Шел солдат по Ширакской степи из села Красные Колодцы в свое родное село. Был он уже немолод, но ростом высок, ладно скроен, чернявый, из-под мохнатых бровей сверкали орлиные очи, под носом топорщились гусарские усы.

Служил в гусарах, стоял под Ригой. Да только бог знает, как давно это было. Потускнели в памяти рижские казармы, а как пахнет родная земля, солдат и вовсе забыл: время настало горячее, революция грянула. Подался бывший гусар к красным, попал в самое пекло, на юг. Сражался в красногвардейских отрядах с интервентами и белобандитами. Стал бойцом 18-й кавалерийской дивизии, которую вел прославленный герой гражданской войны Петр Курышко. С этой дивизией дошел он до самой что ни на есть родной стороны, до Царских Колодцев в Ширакской степи. Здесь меньшевистской пулей из-за угла убили его любимого начдива. Но смерть эта больше ярости прибавила кавалеристам, и как снег на голову обрушились они на Тифлис с Кахетинской, с неожиданной стороны. Погнали меньшевиков. Над Грузией поднялось красное знамя Советов. Это было в 1921 году.

Солдату сказали:

— Теперь возвращайся, Коба Чохели, в свое родное село. Будешь там председателем ревкома. Будешь укреплять Советскую власть.

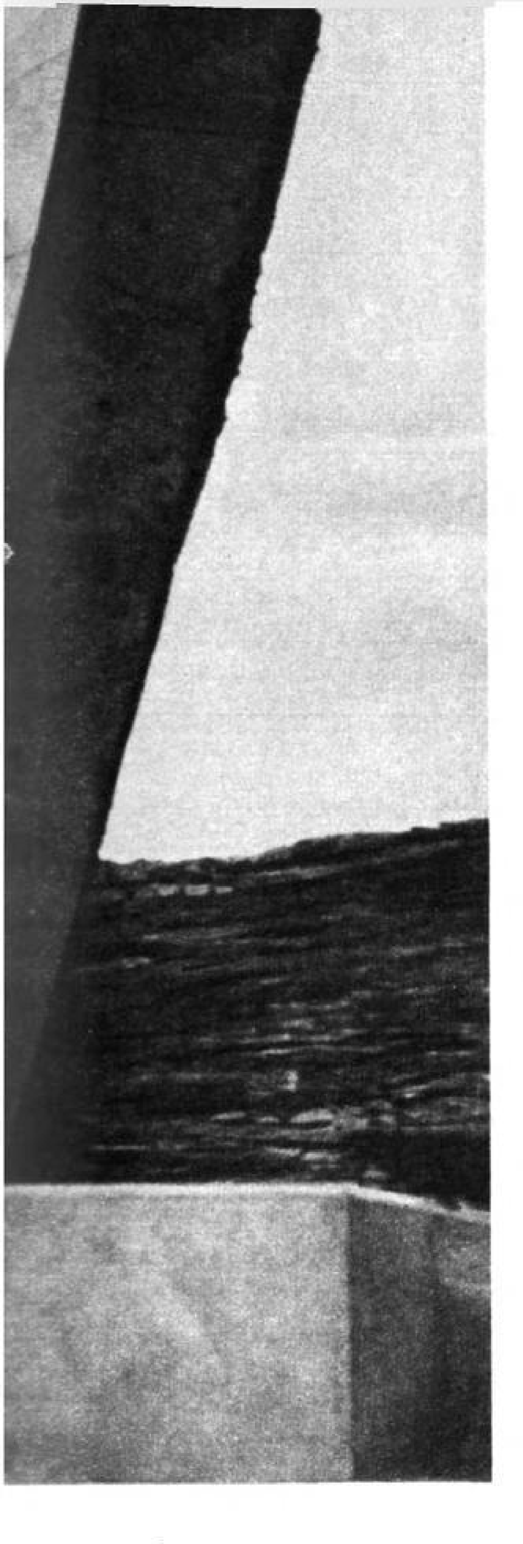
И пошел солдат мимо Царских, теперь уже Красных Колодцев поклониться могиле своего начдива. Мол, будь спокоен, все сделаю как положено. Идет, плечи расправил, дышит всей грудью крестьянин Коба Чохели, коммунист Коба Чохели, плоть от плоти этого народа и этой политой кровью земли.

А степь кругом голая, нераспаханная. Село Земо-Кеди маленькое, бедное, совсем новое село. Не успели люди укорениться здесь. Всего лет 15 назад с гор, из душетских и дарьяльских ущелий их привел на это место Важа Пшавела, любимый горский поэт. Сам эту землю облюбовал, у казны отвоевал и предложил здесь жить, потому что совсем уже нечем стало кормиться в ущельях.

Как же, думает Коба, начинать новую жизнь? Солдат есть солдат. Все видел. Смерти в глаза не раз глядел, в школе партийной подучился, революционный пыл сохранил в чистоте, собрал верных людей вокруг себя и решил: будет в Земо-Кеди сельскохозяйственная коммуна! Государство поможет с постройкой, с семенами, с продуктами. Только работать надо будет на совесть.

— А кто будет совестью?

— Каждый из нас и Совет ком-



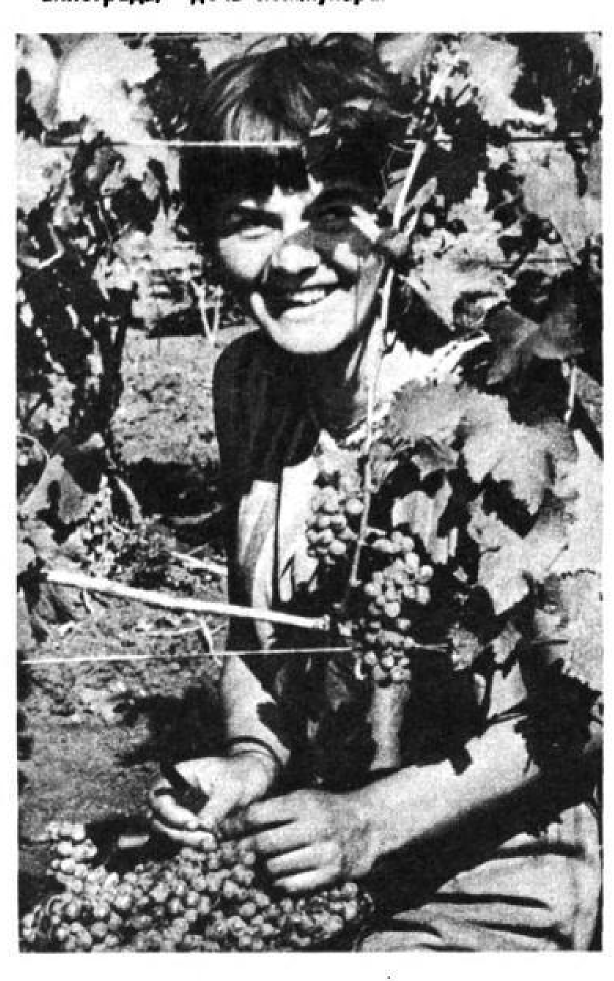


Осенние заботы о будущей весне.



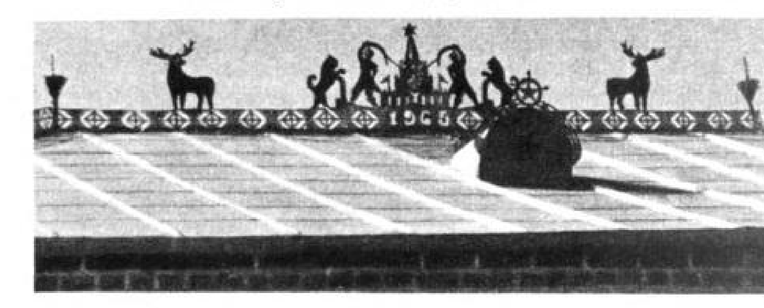
Председатель колхоза Арсен Кобандзе — воспитанник коммуны.

Тамара Меликишвили, сборщица винограда,— дочь коммунара.



Комбинат бытового обслуживания.

Дома в колхозе украшают так.



ЕДИ

муны. И товарищеский суд. Примем Устав коммунаров и начнем.

Приняли Устав 17 семей, а через несколько лет было в коммуне уже 200 семей.

Все исполнил, что обещал своим землякам, солдат. Все построили, 2 трактора для коммуны добыли, всех одели, обули.

Было в коммуне много всякого, за что сейчас некоторые молодые люди насмех могут поднять. Но что поделаешь — время такое, первые годы Советской власти.

Все очень чисто и строго было в этой большой и дружной семье. Но вокруг, в других селах, люди не так жили. Да и не могли бы все так жить. Поэтому, когда в стране стали организовываться сельскохозяйственные артели, земо-кедская коммуна тоже стала артелью, а ее руководитель — председателем артели. Произошло это уже в 1933 году.

Еще 15 лет стоял солдат революции во главе земо-кедского колхоза, всю войну, на которую уже сам не мог пойти. А после, как закончилась война, сказал:

— Теперь все. Я уже стар, мне надо на покой. Если согласитесь, назову человека, который заменит меня.

И назвал имя Арсена Кобаидзе.

В этой деревне все его знают хорошо. Арсена вырастила коммуна. Его и его братьев. Их было пятеро. Как и другие коммунарские дети, они учились не в Земо-Кеди, потому что тогда здесь и школы-то не было. Они учились в других селах и городах на средства коммуны, и за ними ухаживали специально выделенные для этого «дядьки». Летом же они работали в своем селе, как все. Когда совсем вернулись домой, в Земо-Кеди был уже колхоз. Старший брат Николай стал работать в политотделе МТС, Шалва — бригадиром тракторной бригады, Вано — шофером, Сандро — счетоводом, Арсен — учителем в новой школе. Его, Арсена, сельские комсомольцы избрали своим вожаком. Началась война, и все пятеро Кобандзе ушли на фронт. Четверо погибли. Вернулся в 1945 году только Арсен. Вот ему и передал, как солдат солдату, свое детище Коба...

Стоит сейчас в Земо-Кеди первый коммунарский домик, наполовину заколоченный, наполовину кем-то из селян занятый. До последнего времени жил в нем сильно постаревший дядя Коба. Над входной дверью еще первыми коммунарами выцарапано по камню: «Крестьяне и пролетарии! По пути Ленина — к коммунизму!»

Надпись сделана в 1927 году.

А село разрослось. Вместо 200 дворов сейчас 1 200. Главная сельская улица имени Важа Пшавела тянется 6 километров, и последний дом имеет табличку с номером 300. Посреди села стоит высокий обелиск в память о погибших в Отечественной войне. На белой мраморной доске высечены золотыми буквами 290 фамилий невернувшихся односельчан — целый батальон! Они никогда не узнают, как преобразилось за эти годы их родное Земо-Кеди: все строятся, у всех новые каменные дома, у всех радио и телевизоры, 37 личных автомобилей. Теперь земокедцы в состоянии обрабатывать семь с половиной тысяч гектаров колхозных земель и около 300 гектаров виноградников, держат в отарах 18 тысяч овец, а на фермах 3 тысячи голов крупного рогатого скота. Два миллиона годового дохода — состояние земокедцев. О такой жизни и не мечтали первые коммунары, принимая свои суровые, пуританские законы. Но, должно быть, к ней, к этой жизни, они стремились.



И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН,
доктор искусствоведческих наук

Дневник Аннет Олениной

Среди тех современниц, которых Пушкин обессмертил посвященными им стихами, одно из первых мест занимает Анна Алексеевна Оленина. Она была дочерью близкого знакомого Пушкина — президента Академии художеств и директора Публичной библиотеки, писателя, археолога и рисовальщика А. Н. Оленина. Увлеченный поэт посвятил ей цикл замечательных лирических стихотворений. В 1828 году Пушкин хотел жениться на Олениной. Неоднократно набрасывая профиль девушки в своих черновиках, он пишет «Annette Pouchkine» и анаграмму, обратное начертание ее имени: «ettenna aninelo», то есть «Annette Olenina».

И вот передо мной лежит альбом двадцатых годов прошлого века в кожаном переплете, с золотым обрезом и с вытисненным на нем золотом одним только словом: «Annette». Это девичий дневник А. А. Олениной, в котором нашли отражение и встречи с Пушкиным и косвенно его сватовство.

Но прежде чем рассказать о дневнике Олениной и о его судьбе, напомним читателю, что именно к Олениной обращены семь стихотворений Пушкина; в отношении еще трех стихотворений есть основания предполагать, что они отчасти связаны с ней, а в двух других поэт восторженно отзывается о ее внешних и душевных качествах. Аннет Оленина вдохновила Пушкина на создание следующих стихотворений 1828 года: «Вы избалованы природой...», «Увы, язык любви болтливый...», «Ты и вы» («Пустое вы сердечным ты...»), «Не пой, красавица, при мне...», «Волненьем жизни утомленный...», «Предчувствие» («Снова тучи надо мною...»), «Город пышный, город бедный...»,— нет нужды говорить о том, что эти стихи с предельной полнотой выражают отношение поэта к Олениной. Кроме того, Пушкин написал в ее альбом стихотворения «Приметы» («Я ехал к вам: живые сны...»), «В альбом» («Что в имени тебе моем?»), и «Я вас любил: любовь еще, быть может...». А вот упоминание об Анне Алексеевне в стихотворении, обращенном к английскому живописцу Джорджу Доу, создателю 332 портретов героев войны 1812 года для Военной галереи Зимнего дворца, предполагавшему написать портрет Пушкина:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.

Рисуй Олениной черты:
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

В другом стихотворении, стремясь запечатлеть «глаза Олениной моей», поэт так говорит о них:

Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..

Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

Когда в конце 1810-х годов юноша Пушкин стал бывать у Олениных, их дом был своеобразным центром литературной и художественной жизни Петербурга. Здесь поэт познакомился и подружился со многими выдающимися писателями, учеными, живописцами, композиторами, артистами, с передовыми людьми того времени. Декабрист М. П. Бестужев-Рюмин, один из пяти казненных организаторов восстания, показал на следствии: «С Пушкиным я несколько раз встречался в доме Алексея Николаевича Оленина в 1819 году». В этом кругу и выросла младшая дочь Оленина, Аннет, родившаяся в 1808 году. У нее было музыкальное дарование — ее пением восхищались, а в совсем молодые годы она написала музыку к думе Рылеева «Смерть Ермака».

Вспоминая о том времени и рассказывая о многогранных культурных интересах отца — он знал десять языков: старославянский, латинский, греческий, французский, немецкий, итальянский, испанский, английский, еврейский, арабский,— Анна Алексеевна пишет: «Батюшке я сама во многом обязана, от его истинного глубокого знания и мне кое-что перепало. В его разговорах, выборе для меня книг и в кругу незабвенных наших великих современников: Карамзина, Блудова, Крылова, Гнедича, Пушкина, Брюллова, Батюшкова, Глинки, Мицкевича, Уткина, Щедрина и прочих, почерпала я все, что было в то время лучшего» (цитируем по неизданной рукописи воспоминаний А. А. Олениной).

Этот перечень друзей Олениных можно значительно дополнить: в их доме бывали также Жуковский, Вяземский, Языков, Катенин, Шиллинг, Виельгорские, Ф. П. Толстой, Боровиковский, Венецианов, Кипренский, Гальберг, декабристы Никита и Александр Муравьевы и множество других видных представителей культурного мира России.

После семилетней ссылки Пушкин вернулся в Петербург в мае 1827 года и, очевидно, возобновил свои посещения дома Олениных и вновь встретился с Аннет. Ей уже исполнилось 19 лет, а за два года до этого она была назначена фрейлиной императорского двора. Пушкин по возвращении встречался с ней и у общих знакомых. И совсем часто они стали видеться с весны 1828 года,— об этом существует множество документальных свидетельств. По одним только письмам П. А. Вяземского к жене можно установить, что Пушкин был у Олениных 17 апреля и 3 мая, а 5 мая он пришел на бал к Мещерским, где находилась Аннет. Весь день 9 мая поэт провел в обществе Олениных и художника Доу,— они совершили совместную поездку по морю на пироскафе.

В Приютине, усадьбе Олениных, Пушкин был своим человеком. Они туда переехали в середине мая 1828 года, и ему случалось подолгу гостить у них. Вот что пишет жене Вяземский 21 мая, посетив накануне Приютино: «Ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню в Приютино, верст за 17. Там нашли мы и Пушкина с своими любовными гримасами. Деревня довольно мила, особливо же для Петербурга: есть довольно движения в видах, возвышения, вода, лес».

Здесь, в Приютине, Анна Алексеевна и начала в июне 1828 года вести дневник. Альбом, который носит на переплете ее имя, вероятно, был подарен ей кем-нибудь из близких, быть может, отцом. Примечательно, что один из двух эпиграфов, написанных ею на форзаце, она взяла из пушкинского произведения:

«Я все грущу: но слез уж нет
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет!

«Евгений Онегин» Пушкина».

И уже в первой дневниковой записи, сделанной 20 июня в Приютине, упоминается Пушкин, которого она встретила накануне: «Вчера была я для уроков в городе, видела моего ангела Машу Эльмпт и обедала у верного друга Варвары Дмитриевны Полторацкой. Как я ее люблю! Она так добра и мила! Там был Пушкин и Миша Полторацкий. Первый довольно скромен, и я даже с ним говорила и перестала бояться, чтоб не соврал чего в сентиментальном роде».

Продолжение. См. «Огонек» № 47.



АННА АЛЕКСЕЕВНА ОЛЕНИНА. **Копия портрета Карла Брюллова, исполненная А. Поповым в 40-е годы.**


Annette

Многое можно прочесть в этих кратких строчках! Значит, у Аннет Олениной были основания считать, что во время предыдущих встреч Пушкин вел себя не совсем скромно, опасаться, как бы он «не соврал чего в сентиментальном роде». Возможно, ее строгая мать Елизавета Марковна (урожденная Полторацкая), опасаясь пушкинских «любовных гримас», по слову Вяземского, наказала дочери их остерегаться.

Четыре недели спустя — 17 июля — Аннет вносит в альбом пространную запись, где говорит о своей сокровенной девичьей мечте — выйти замуж. В этой записи упоминается и Пушкин в качестве одного из возможных женихов. Запись начинается так: «Я лениво пишу в журнале, а, право, так много имею вещей сказать, что и стыдно пренебрегать ими: они касаются, может быть, счастья жизни моей». И далее: «Разговорилась я после обеда с Иваном Андреевичем Крыловым о наших делах. Он вообразил себе, что Двор вскружил мне голову и что я пренебрегала бы хорошими партиями, думая выйти за какого-нибудь генерала. В доказательство, что не простираю так далеко своих видов, назвала я ему двух людей, за которых бы вышла, хотя и не влюблена в них: Мейендорфа и Киселева. При имени последнего он изумился. «Да,— повторила я,— я думаю, что они — не такие большие партии, и уверена, что вы не пожелаете, чтобы я вышла за Краевского или за Пушкина». «Боже избави,— сказал он,— но я желал бы, чтоб вы вышли за Киселева и, ежели хотите знать, то он сам того желает. Но он и сестра говорят, что нечего ему соваться, когда Пушкин того же желает».

А через несколько строк Аннет записывает следующее: «Сама вижу, что мне пора замуж: я много стою родителям, да и немного надоела им. Пора, пора мне со двора, хотя и это будет ужасно. Оставив дом, где была счастлива столько времени, я войду в ужасное достоинство жены! Кто может узнать судьбу свою; кто скажет, выходя замуж, даже по страсти: «я уверена, что буду счастлива». Обязанность жены так велика: она требует столько abnégation de soi-même[1], столько нежности, столько снисходительности и столько слез и горя! Как часто придется мне вздыхать из-за того, кто пред престолом всевышнего получил мою клятву повиновения и любви; как часто, увлекаемый пылкими страстями молодости, будет он забывать свои обязанности! Как часто будет любить других, а не меня... Но я преступлю ли законы долга, будучи пренебрегаема мужем? Нет, никогда!»

На следующий день — 18 июля 1828 года — Анна Алексеевна вновь возвращается к тем же мыслям. Но теперь она приходит к наивному решению — написать роман. Любопытно ее рассуждение о том, кто займет центральное место в ее будущем сочинении: «Пушкин и Киселев — два героя моего теперешнего романа. Сергей Голицын, Глинка, Грибоедов и в особенности Вяземский — персонажи более или менее интересные. В отношении женщин, их всего три,— героиня — это я, второстепенные лица — это тетушка Варвара Дмитриевна Полторацкая и госпожа Василевская. Я говорю от третьего лица, пропускаю первые годы, перехожу прямо к делу» (эти строки написаны в дневнике по-французски). И далее Аннет Оленина в беллетризованной форме описывает свою встречу с Пушкиным на балу у Е. М. Хитрово (дочери Кутузова) после возвращения поэта из ссылки:

«Однажды, на балу у графини Тизенгаузен-Хитровой, Анета увидела самого интересного человека своего времени и выдающегося на поприще литературы: это был знаменитый поэт Пушкин» (в дневнике эта фраза также по-французски, дальнейший абзац по-русски).

«Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательною наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава, природного и принужденного, и неограниченное самолюбие — вот все достоинства телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия. Говорили еще, что он дурной сын, но в семейных делах невозможно знать; что он распутный человек,— да к похвале всей молодежи, они почти все таковы. Итак все, что Анета могла сказать после короткого знакомства, есть то, что он умен, иногда любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен».

Наивно, даже по-детски описывает Оленина внешний облик Пушкина и его характер. (Упоминая о «стеклянных» глазах поэта, она имеет, очевидно, в виду их светлый цвет: «в голубых или, лучше сказать, стеклянных...»)

Продолжение вышеприведенной записи написано в дневнике по-французски, вот его перевод:

«Среди особенностей поэта была та, что он питал страсть к маленьким ножкам, о которых он в одной из своих поэм признавался, что предпочитает их даже красоте. Анета соединяла со сносной внешностью две вещи: у нее были глаза, которые порой бывали хороши, порой глупы. Но ножка ее действительно была очень мала, и почти никто из ее подруг не мог надеть ее туфли.

Пушкин заметил это преимущество, и его жадные глаза следили по блестящему паркету за ножками молодой Олениной.

Он только что вернулся из десятилетней[2] ссылки. Все — мужчины и женщины — старались проявлять к нему внимание, которое всегда оказывают гению. Одни делали это ради моды, другие — чтобы иметь прелестные стихи и приобрести благодаря этому репутацию, иные, наконец, вследствие истинного почтения к гению, но большинство — потому, что он был в милости у государя Николая Павловича, который был его цензором.

Анета знала его, когда была еще ребенком. С тех пор она восторженно восхищалась его увлекательной поэзией.

Она тоже захотела отличить великого поэта: она подошла и выбрала его на один из танцев; опасение быть осмеянной им заставило ее опустить глаза и покраснеть, подходя к нему. Небрежность, с которой он спросил, где ее место, задела ее. Предположение, что Пушкин мог принять ее за дуру, оскорбило ее, но ответила просто и за весь остальной вечер уже не решалась выбрать его.

Но когда подошла ее очередь приглашать и исполнять фигуру, она увидела его приближающимся к ней. Она подала ему руку, отвернув голову и улыбаясь, потому что это была честь, которой все завидовали».

После этих строк Аннет записывает (также по-французски): «Я хотела написать роман, но мне надоело, лучше я просто буду писать свой дневник. Я перечитала портрет Пушкина и рада, что он мне удался — его можно узнать из тысячи!! Но продолжим мой дорогой дневник».

11 августа 1828 года А. А. Олениной исполнилось двадцать лет. В числе тех, кто приехал в Приютино, чтобы ее поздравить, был и Пушкин. Вот что она записала по этому поводу в своем дневнике 13 августа:

«В субботу было мое рождение, мне минул 20-й год! Боже, как я стара, но что же делать. У нас было много гостей, мы играли в барыразбойники, после много пели. Пушкин, или «Red Rower», как я прозвала его, был по обыкновению у нас; он влюблен в Закревскую и все об ней толкует, чтоб заставить меня ревновать, но притом тихим голосом прибавляет мне нежности. Милый Глинка и премилый Сергей Голицын (Фирс) были у нас, первый играл чудесно и в среду придет дать мне первый мой урок пения».

В те дни в столичной прессе появились сведения о продаже нового романа Фенимора Купера «Red Rower» («Красный корсар»)— отсюда и прозвище, которое Оленина дала поэту. В этой записи упоминаются А. Ф. Закревская — Пушкин посвятил ей несколько стихотворений,— М. И. Глинка и его приятель С. Г. Голицын, дилетант на поэтическом и композиторском поприще.

Строки о дне рождения помещены на 21-й странице дневника, дальнейшие двадцать страниц были заполнены в сентябре, а на 41-й Оленина начинает записывать свои воспоминания о недавних неделях жизни, которые озаглавливает: «Роман моего сочинения». Здесь она вновь возвращается к памятному для нее дню 11 августа. На странице 60-й Оленина пишет слово «Рожденье», затем в качестве эпиграфа приводит строки из «Евгения Онегина»:

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.

После этого идет подробная запись, связанная с молодым казачьим офицером А. П. Чечуриным, с которым Оленина познакомилась незадолго до дня своего рождения. Начинается запись так: «Настал желанный день. Мне минуло, увы, 21 год! Еще когда я одевалась, я получила несколько подарков, а именно: герой прислал мне китайское зеленое вышитое шелком одеяло. Я сошла вниз. Все поздравили меня, я благодарила, смеялась, шутила и была очень весела. Поехали к обедне и возвратясь сейчас же пошла одеваться». Почему молодая девушка прибавила себе в этой записи год — непонятно. (Вероятно, она хотела написать: «мне пошел 21-й год».) Описав далее свой разговор с Чечуриным, Анна Алексеевна пишет: «Мы сели за стол. Пушкин, Сергей Голицын, Глинка, Зубовы и пр. приехали. Меня за обедом все поздравляли, я краснела, благодарила и была в замешательстве».

В записи имеются такие фразы: «Наконец все разъехались дамы, остались одни мужчины. Мы сели ужинать за особливый стол, и тут пошла возня: всякий пел свою песню или представлял какое-нибудь животное». В дальнейших строках дневника сказано, что гости «уехали поздно». Приходится пожалеть, что в данной записи целые страницы уделены Чечурину, а о Пушкине говорится мимоходом.

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА А. А. ОЛЕНИНОЙ
На левой странице описание внешности Пушкина. Эта запись была сделана после встречи с поэтом на балу у Е. М. Хитрово (дочери М. И. Кутузова).

◀ **Дневник Анны Алексеевны Олениной, в котором имеются записи о ее встречах с Пушкиным в 1828 году.**

[1] Самопожертвования (франц.).
[2] Ошибка. Пушкина не было в столице семь лет.



Анна Алексеевна Оленина. Акварельный портрет, исполненный Александром Брюлловым в 1840 году (нынешнее местонахождение оригинала неизвестно).

Это поддается объяснению. По-видимому, в те самые дни, когда заполнялись эти страницы дневника, озаглавленные Олениной «Роман моего сочинения», Пушкин просил руки Анны Алексеевны, но получил от ее матери решительный отказ. Такой вывод можно сделать из записи, внесенной в дневник 19 сентября: в ней описано празднование 5 сентября, дня именин матери, Елизаветы Марковны, на котором присутствовал Пушкин. Эта запись глубока по внутреннему содержанию.

«Пока все приготовлялось в зале, я напомнила Сергею Голицыну его обещание рассказать мне об известных событиях. После некоторого жеманства он сказал мне, что это касается поэта. Он умолял меня не менять поведения по отношению к нему. Сергей порицал маменьку за ее суровость к Пушкину, говоря, что это не способ успокоить его. Когда я сказала ему о дерзости, с которой Штерич говорил мне у графини Кутайсовой о любви Пушкина ко мне, Сергей мне отвечал, что он уже заметил Штеричу, что это не его дело, и что я ему очень хорошо ответила. Я была в ярости от речей, которые Пушкин держал на мой счет. Он сказал мне тогда: «Вам передавали, не правда ли, что Пушкин сказал: «Мне бы только с родными сладить, а с девчонкой я уж слажу сам». Это было при мне сказано, и не совсем так. Я ведь знаю кто и зачем Вам это передал, Вам это сказала Варвара Дмитриевна!» (запись сделана по-французски, лишь три последние фразы написаны по-русски).

Великосветский болтун, камер-юнкер Е. П. Штерич повторил Олениной то, о чем тогда поговаривали в аристократических салонах Петербурга. А Варвара Дмитриевна Полторацкая делала все, чтобы ее брат Николай Киселев мог жениться на Анне Алексеевне.

О том, в каком настроении пребывал Пушкин 5 сентября на именинах Елизаветы Марковны, свидетельствуют следующие строки в той же записи Аннет Олениной: «Прощаясь, Пушкин мне сказал, что он должен уехать в свое имение, если, впрочем, у него хватит духу,— прибавил он с чувством» (в этой фразе только первые четыре слова написаны по-русски).

В чем же причина отказа родителей Анны Алексеевны выдать дочь за Пушкина? В литературе вопрос этот ставился неоднократно. Значительную роль в отказе, по мнению исследователей, начиная от одного из первых пушкинистов, П. И. Бартенева, сыграли тревожные для поэта события, имевшие место в том же 1828 году: 28 июня Государственный совет, членом которого был А. Н. Оленин, постановил учредить за Пушкиным секретный надзор, а в начале августа он был вызван к петербургскому военному губернатору для показаний о «Гавриилиаде». Конечно, Пушкин в эти месяцы был для Олениных не тем человеком, за которого они хотели бы выдать свою дочь, фрейлину императорского двора. Но, думается, немалое значение в этом отказе имело и то, что Олениным были известны прежние увлечения поэта. Так, Елизавета Марковна, безусловно, хорошо знала, что стихотворение «Я помню чудное мгновенье» посвящено ее родной племяннице, которая не делала из этого секрета. Ведь Анна Петровна Керн сама, как она рассказывает в своих воспоминаниях, передала автограф этого стихотворения для опубликования А. А. Дельвигу: «Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих «Северных цветах». Мих. Ив. Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя». Стихотворение появилось в печати в начале 1827 года с заглавием «К ***». Не могла не знать и Аннет, что «Я помню чудное мгновенье» обращено к ее двоюродной сестре,— альманах «Северные цветы», вероятно, лежал у нее на столе, когда в своем дневнике она цитировала первые четыре строки этого стихотворения. Да и Пушкин не скрывал своих отношений с Керн — в феврале 1828 года он написал с полной откровенностью С. А. Соболевскому о характере этих отношений. О том же могло быть известно не только Соболевскому. Не сыграло ли все это некую роль при отказе Олениных от предложения Пушкина?

Теперь вкратце о том, как дневник А. А. Олениной сохранился до наших дней.

Вышла замуж Анна Алексеевна уже после смерти Пушкина — в 1840 году, в возрасте 32 лет, за офицера лейб-гвардии гусарского полка Ф. А. Андро де Ланжерона. Его отец, французский эмигрант граф А. Ф. Андро де Ланжерон, поселился в России в 1790 году, служил в русской армии и участвовал в войнах против Швеции и Турции, принимал участие в Отечественной войне 1812 года; Новороссийский генерал-губернатор, он был одним из строителей Одессы. Пушкин познакомился с ним во время пребывания в Одессе и часто встречался. Сын Ланжерона Федор Александрович вместе с семьей переехал в 1844 году в Варшаву, где был сначала адъютантом Паскевича, а затем в течение четырнадцати лет — президентом Варшавы. В Польше Анна Алексеевна прожила около сорока лет.

О судьбе богатого архива А. А. Олениной рассказала в зарубежной печати ее внучка Ольга Николаевна Оом. По ее словам, муж Анны Алексеевны ревновал жену к ее блестящему прошлому, а потому «все, что некогда наполняло ее девичью жизнь, не должно было более существовать, даже как воспоминание». И весь свой богатый архив она сложила в «рундук» и отправила на чердак, где он пролежал сорок лет. И только после смерти мужа в 1885 году, когда Анна Алексеевна переехала в Серединные Деражни — имение ее младшей дочери Антонины Федоровны Уваровой в Волынской губернии — семидесятисемилетней старушкой, она приступила к разбору своего архива. Даже то, что запомнилось и было записано ее внучкой спустя пятьдесят лет, поражает. Она рассказывает, в частности, об альбомах с автографами и рисунками Пушкина, упомянув, что там были «все больше ножки гирляндою вокруг стихотворений 1828 года». Один из альбомов Анна Алексеевна подарила этой внучке, в будущем О. Н. Оом. В нем, в числе других автографов, было два стихотворения Пушкина — «Что в имени тебе моем?..» и «Я вас любил, любовь еще, быть может...». Второе стихотворение поэт вписал в альбом в 1829 году, а в 1833-м сделал под ним приписку: «plusqueparfait — давно прошедшее, 1833».

В своих воспоминаниях, напечатанных в 1936 году, О. Н. Оом рассказывает: «Завещая мне этот альбом, Анна Алексеевна выразила желание, чтобы этот автограф с позднейшей припиской не был предан гласности. В тайнике своей души сохранила она причину этого пожелания: было ли это простое сожаление о прошлом или затронутое женское самолюбие, мне неизвестно, но желание Анны Алексеевны я исполнила, и автограф не сделался достоянием печати. Теперь же, когда прошло более ста лет со времени создания Пушкиным этого чудного стихотворения, я думаю, что то значение, которое Анной Алексеевной придавалось пометке Пушкина, уже утратилось». К великому сожалению, местонахождение этого альбома, до конца 1917 года сохранявшегося в доме О. Н. Оом в Петрограде, теперь неизвестно.

По словам той же мемуаристки, в других альбомах ее бабушки были рисунки О. А. Кипренского — один из них изображал Крылова, другой, исполненный в 1812 году, детей Олениных — Анну и ее сестру Варвару,— акварельные эскизы К. П. Брюллова для костюмированных балов в Зимнем дворце, музыкальные записи М. И. Глинки.

После того, когда 15 декабря 1888 года Анна Алексеевна скончалась, ее архив, как то нередко бывало и бывает, распылился. Часть осталась у А. Ф. Уваровой, младшей дочери, где Анна Алексеевна провела последние годы жизни, другая часть поступила к средней дочери С. Ф. Сталь-фон-Гольстейн — матери О. Н. Оом, значительная часть перешла к старшей дочери А. Ф. Гарбинской, жившей в Варшаве.

Долгие годы ее дочь Софья Андреевна сохраняла реликвии из архива бабушки. Но многое С. А. Гарбинская утратила. Так, у нее в Польше находился дневник А. А. Олениной, относящийся к последним годам жизни Пушкина, «трагическая кончина которого,— как говорит О. Н. Оом,— глубоко опечалила Анну Алексеевну и была ею подробно в нем описана». Когда О. Н. Оом встретилась в 1920-х годах со своей двоюродной сестрой, этого дневника у нее уже не оказалось. Зато С. А. Гарбинская передала ей дневник «Annette», о котором идет речь в настоящем очерке. В 1936 году О. Н. Оом напечатала в Париже дневник в количестве всего лишь 200 нумерованных экземпляров. У нас об этом дневнике писала в специальном научном издании, вышедшем небольшим тиражом, известная пушкинистка Т. Г. Цявловская, но она пользовалась парижским изданием, в котором текст дневника приведен не полностью, притом со многими неточностями, перестановками, изменениями. Поэтому дневник Аннет Олениной нуждается в новом издании, научно подготовленном.

Хочется отметить, что дневник этот проделал невероятно длинный путь за долгие годы своего существования. Выйдя замуж, А. А. Оленина увезла его на сорок лет в Варшаву, затем привезла его с собой в Волынскую губернию, когда поселилась у дочери. После смерти Анны Алексеевны дневник перешел к другой ее дочери, жившей в Польше, а затем к внучке. В 1920-х годах его получила О. Н. Оом, другая внучка Анны Алексеевны, поселившаяся после революции во Фран-

ции. И, наконец, в 1940-х годах дневник оказался в руках сына О. Н. Оом, В. Н. Звегинцова, вот уж около полувека живущего за рубежом.

В предыдущем очерке я уже упоминал В. Н. Звегинцова, которому принадлежит исполненный П. Ф. Соколовым акварельный портрет М. Н. Волконской с сыном.

В результате наших встреч и бесед Владимир Николаевич принял решение отправить на родину некоторые из принадлежащих ему рукописных материалов и портретов, относящихся к пушкинской эпохе. Это прежде всего дневник его прабабушки А. А. Олениной, выдержки из которого только что приводились. Передал он мне также рукопись двух глав, которые Анна Алексеевна только и успела написать, и то не полностью, из задуманных ею мемуаров, уже на склоне лет, в 1881 году. Решив поведать будущим поколениям то, что «видела и слышала на своем веку», она набросала лишь вводную главу, которую озаглавила «Первый листок»; затем в 1884 году она принялась за другую главу, но, так и не доведя ее до конца, к своим воспоминаниям больше не возвращалась. Но и в том немногом, что она написала, имеется ряд интересных исторических и бытовых подробностей, касающихся ее деда, бабушки, отца. Остается только пожалеть, что Анна Алексеевна не осуществила своего замысла и не оставила нам подробных воспоминаний о прожитом и виденном,— это был бы, безусловно, интересный мемуарный памятник. Затем В. Н. Звегинцов передал четыре письма графа А. Ф. Ланжерона, адресованных ученому-эллинисту Жану Гею, хранителю библиотеки Королевской академии во Франции; темы писем — археологические изыскания, которыми А. Ф. Ланжерон страстно увлекался. Письма эти сохранились в бумагах А. А. Олениной. У В. Н. Звегинцова оказался также портрет Ф. А. Андро де Ланжерона, исполненный его двоюродным братом графом Дама́, и книга «Стихотворения» Н. И. Гнедича, вышедшая в 1832 году в Петербурге, с дарственной надписью Е. М. Олениной.

Н. И. Гнедич был в большой дружбе с семьей Олениных. И в эту книгу он включил пять стихотворений, в которых о них говорится. Пространное «Приютино» имеет подзаголовок «Посвящено Елизавете Марковне Олениной (1820 г.)», и четыре других обращены к ее дочери Анне Алексеевне: «К А. А. О. При получении ею в подарок китайского веера»; «Анете О. в альбом»; «А. А. О. (В альбом, 1827)»; «К кающейся грешнице (1827)». (На полях последних двух стихотворений указано старинным почерком, что они относятся к А. А. Олениной.) Прошло меньше трех месяцев с того дня, когда поэт подарил своим друзьям этот экземпляр своих «Стихотворений»,— и жизнь его оборвалась: 3 февраля 1833 года Н. И. Гнедич скончался. А 6 февраля Пушкин, А. Н. Оленин, И. А. Крылов, Ф. П. Толстой, П. А. Вяземский, П. А. Плетнев несли гроб поэта...

Кстати отметим, что, кроме Пушкина и Гнедича, А. А. Олениной посвящали свои произведения Крылов, Лермонтов, Козлов, Веневитинов.

И, наконец, Владимир Николаевич передал на родину две весьма примечательные вещи: они не только свидетельствуют о том, что существовали два портрета А. А. Олениной, один кисти Карла Брюллова, а другой — Александра Брюллова, но и дают представление об этих, ныне утраченных портретах.

Почти четырнадцать лет Карл Брюллов отсутствовал в Петербурге. В августе 1822 года весьма одаренный двадцатидвухлетний живописец выехал в качестве пенсионера Общества поощрения художников сроком на три года в Италию для совершенствования своего мастерства, но случилось так, что он вернулся из-за границы в конце декабря 1835 года в Москву, а в Петербург приехал лишь в конце мая следующего года.

И если отношения между президентом Академии художеств А. Н. Олениным и Брюлловым до его отъезда за границу были сложными, если не сказать неприязненными, то после возвращения художника в Петербург Оленин устроил ему в здании Академии художеств чествование, а затем всячески содействовал осуществлению его творческих замыслов.

На чествовании, состоявшемся 12 июня 1836 года, Оленин выступил с речью, в которой сказал, что в этот день «свершилось торжество в честь превосходного таланта одного из питомцев Академии, торжество, какому не было еще примера в летописях С.-Петербургской императорской Академии художеств».

А когда Брюллов сразу же после приезда в столицу уведомил о своем решении написать картину «Осада Пскова», Оленин оказал ему всяческое содействие — организовал поездку в Псков «для осмотрения местности и памятников древности, которые там могли остаться», и дал ему в помощники акварелиста и археолога Ф. Г. Солнцева, выполнившего в связи с картиной ряд подсобных работ. Наконец, сам президент Академии художеств во многом Брюллову помог, так как познания Оленина в области истории древней Руси были огромны и перу его принадлежали многочисленные труды по этим вопросам.

Сохранилось письмо Оленина, в котором говорится об одном из его посещений мастерской художника: «...я видел подмалеванную картину Карла Брюллова и перенес себя мысленно в Псков, где в 1581 году происходило то, что наяву сегодня видел в мастерской Карла Брюллова — чудо да и полно!» Далее Оленин просит дочь, Анну Алексеевну — письмо было направлено ей и датировано 10 июля 1839 года,— обратиться к великому князю Михаилу Павловичу с такой просьбой: «Не будет ли его высочество столько милостив, чтобы позволить мне, по прежним примерам, брать из арсенала его высочества по выбору Карла Брюллова, для осады Пскова в лицах, то оружие, которое по тогдашнему времени может ему служить образцом, в сохранности же и целости оных я буду отвечать подписными расписками и своей головой».

В эти годы отношения Брюллова с Олениными были самыми дружескими, он бывал в их петербургском доме, гостил в Приютине. И, возможно, не раз писал портреты Олениных. Но если обратиться к лучшим из существующих исследований о художнике, то в них можно найти всего лишь одно указание на то, что по возвращении в Петербург художник исполнил в 1837—1838 годах портрет А. Н. Оленина, местонахождение которого неведомо и который известен только по гравюре Н. И. Уткина.

Между тем О. Н. Оом, со слов своей бабушки, пишет: «Брюллов был своим человеком в семье Олениных. Его кисти принадлежат многочисленные портреты супругов Олениных и их дочерей». Более того: в выпущенном О. Н. Оом в 1936 году в Париже издании дневника Олениной воспроизведена копия портрета Анны Алексеевны, исполненного Карлом Брюлловым в 1842 году.

Все это осталось вне поля зрения исследователей творчества художника.

Подлинник портрета, правда, пока неизвестен, но зато В. Н. Звегинцов передал копию с него, выполненную в середине прошлого века масляными красками художником А. Поповым. Копия эта сделана, повидимому, в уменьшенном формате (22×17 см). Нужно думать, что она дает верное представление о брюлловском полотне, так как выполнена очень тонко, весьма профессионально. Анна Алексеевна изображена сидящей в кресле, справа от зрителя на постаменте бюст ее отца, исполненный в мраморе в 1831 году С. И. Гальбергом, большим другом Карла Брюллова (ныне бюст находится в экспозиции Русского музея).

Облик А. А. Олениной овеян задушевностью, да и весь лирический строй, в котором решен портрет в целом, оставляет самое отрадное впечатление. Не исключено, что благодаря впервые публикуемой здесь репродукции в красках отыщется и оригинал Брюллова.

Существовал еще один, но исполненный акварелью портрет Анны Алексеевны кисти брата Брюллова, Александра. До 1917 года он находился у ее дочери Антонины Федоровны в Киеве. Чудом уцелевшая у В. Н. Звегинцова фотография — единственное, что пока известно об этом портрете, писанном в 1840 году. Представляется вероятным, что он был исполнен в связи со свадьбой А. А. Олениной.

Благодаря тому, что О. Н. Оом раскрасила фотографию, глядя на акварель Александра Брюллова, можно получить и некоторое представление о цветовой гамме подлинника. Анна Алексеевна изображена на этом портрете сидящей вполоборота, облокотившись правой рукой на тумбу. На ней белое открытое платье, оголяющее плечи. На рукавах две синие с золотом ленты, такого же цвета пояс, свободно и низко перевязанный, на груди бриллиантовый бант с подвеской. На шее черная лента. Волосы спадают завитыми локонами. Кстати сказать, рисуя в своих творческих тетрадях профиль Аннет Олениной, Пушкин неизменно набрасывал ее локоны. Хочется надеяться, что впервые печатаемое воспроизведение этого портрета, исполненного Александром Брюлловым, поможет выяснить судьбу оригинала.

Ольга Николаевна Оом скончалась в 40-х годах нашего века, до конца дней оставаясь преданной дочерью своей Родины. Вот что она писала внукам и внучкам в посвящении к изданию дневника А. А. Олениной: «Я была бы счастлива, если бы при чтении этой небольшой книги в вас укрепилась любовь к России и ее великому прошлому, если бы в сердцах ваших эта любовь сохранилась так же, как она хранится в сердцах людей нашего поколения».

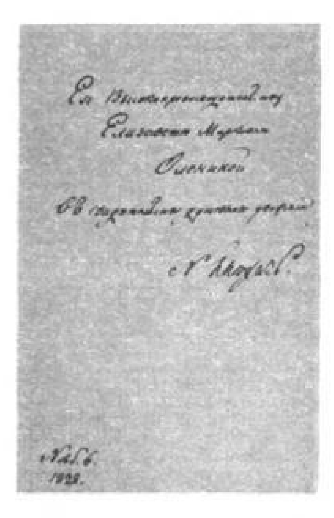
Самое отрадное воспоминание осталось у меня от встреч в Париже с сыном О. Н. Оом — В. Н. Звегинцовым, человеком широких познаний в различных областях истории, литературы и искусства, владеющим пятью языками.

Какое счастье, что реликвии его прабабушки Анны Алексеевны Олениной попали именно к нему! Несмотря на все трудности и превратности своей жизни, Владимир Николаевич сумел сохранить их. И как характерна для этого человека фраза, сказанная им в одном из последних писем ко мне: «Вы не можете себе представить, какой камень спал с моей души после того, что благодаря Вам удалось все эти предметы вернуть домой, на Родину».

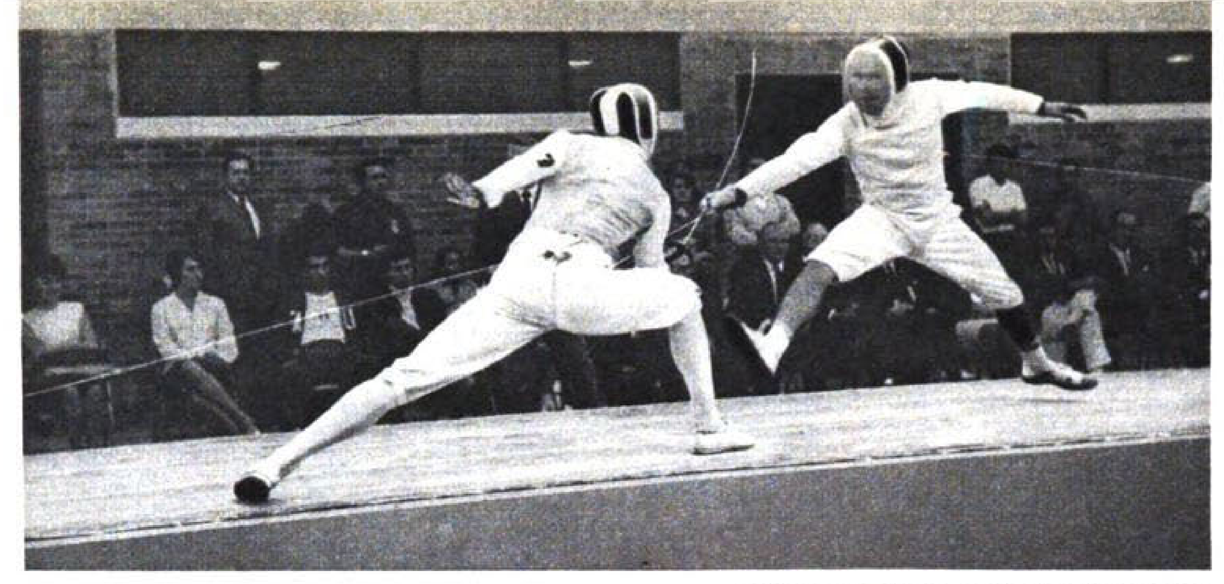
* * *

Дневник Аннет Олениной, две главы ее воспоминаний, книга стихотворений Н. И. Гнедича с дарственной надписью Е. М. Олениной, а также четыре письма А. Ф. Ланжерона переданы мною, по согласованию с В. Н. Звегинцовым, в Центральный государственный архив литературы и искусства СССР; копия брюлловского портрета А. А. Олениной (1842 года), исполненная А. Поповым, фотография портрета Олениной, написанного Александром Брюлловым в 1840 году, а также портрет Ф. А. Андро де Ланжерона — в Музей А. С. Пушкина в Москве.

Экземпляр книги Н. И. Гнедича «Стихотворения» (1832 г.) с дарственной надписью автора Е. М. Олениной, матери А. А. Олениной.







Фехтовальщики на олимпийской дорожке.

Олимпийская серенада

В. ГАВРИЛИН, К. ЖАРОВ

Фото авторов.

Мы проснулись от звона гитар. Под окнами нашего отеля «Беверли» звучала серенада. В первые дни пребывания в Мехико мы засыпали с трудом: сказывалась и разница во времени с Москвой — 9 часов и высота — как-никак 2 240 метров над уровнем моря. Лишь самые спокойные в спортивной делегации, приехавшей на вторую международную неделю,— олимпийский чемпион Ромуальд Клим, борец-тяжеловес Анатолий Рощин да еще два-три человека славились богатырским сном. Вот почему ночной концерт марьячес — народных певцов — не очень нас обрадовал. Нашли время!

Мы уже успели повидать на площади Гарибальди музыкантов и певцов в расшитых серебром и золотом костюмах, в широкополых сомбреро. Красивые, мелодичные песни марьячес можно слушать часами... но не по ночам, особенно когда утром предстоят последние тренировки! И мы недобрым словом помянули не только музыкантов, но и юную сеньориту, в честь которой звучала ночная серенада. И если мы решили спуститься вниз, то только для того, чтобы узнать, как долго будет длиться концерт. Но что это? Почему при нашем появлении марьячес заиграли еще громче?

— А где же сеньорита?— спросили мы.

Музыканты недоуменно переглянулись.

— Какая сеньорита? Сегодня мы играем и поем для советской команды. Совсем бесплатно,— сказал старейшина ансамбля Хуан Паредe.— Нам хочется, чтобы у русских было хорошее настроение перед соревнованием. Мы даже новую песенку сложили в вашу честь. Она посвящена советским гимнасткам. Это немного — одна песня для дорогих гостей. Но ничего, через два года новых серенад на всю ночь хватит.

Дыхание предстоящих Олимпийских игр коснулось не только марьячес. Олимпиада уже прочно вошла в жизнь Мексики. Строительство дорог, стадионов, отелей, благоустройство улиц Мехико, организация специальных курсов для поваров с обязательным приготовлением блюд английской, русской, французской, немецкой кухонь, увеличение выпуска сувениров, наконец, не в последнюю очередь стремление совершить в стране «спортивную революцию», привлечь к занятиям физкультурой юношей и девушек — все это связано с олимпиадой.

Перед Олимпийскими играми не устояла и всемогущая коммерческая реклама. Пять разноцветных переплетенных колец — символ дружбы спортсменов пяти континентов — затмили на улицах и площадях Мехико призывы «Форда», «ЭССО», «Опеля». Утверждают, что представители некоторых зарубежных фирм провели даже совещание по этому вопросу. И вот уже к западногерманским «опелям» старого выпуска приклеиваются таблички с новым названием. Так рождается автомобиль «опель-олимпийский». Олимпийское поветрие затронуло даже историю. Игры начнутся 12 октября, в день открытия Христофором Колумбом Америки.

Интересен путь олимпийского огня, который по древней традиции будет зажжен в Греции. Его доставят в испанский портовый городок Палос, откуда Колумб отправлялся к далеким берегам Вест-Индии, на мексиканский фрегат, который возьмет курс на остров, первым увиденный великим мореплавателем и названный им Сан-Сальвадор. Отсюда намечено два маршрута: один проходит через Северную Америку, другой — через Южную. Незадолго до открытия игр оба факела будут доставлены в древний городок тольтеков Теотиуакан, километрах в сорока от Мехико. Там олимпийский огонь будет гореть меж огромных пирамид, сооруженных сотни лет назад в честь богов Солнца и Луны, и затем уже совершит свой путь на олимпийский стадион Мехико.

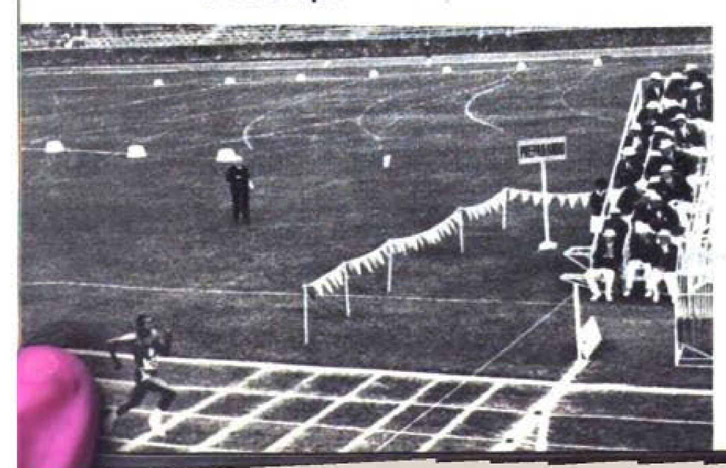
До игр два года, а в организационном комитете, разместившемся в огромном здании в самом центре города, на площади Республики, вам уже могут сообщить меню, скажем, на 18 октября 1968 года в столовой еще не существующей олимпийской деревни. С хронометрической точностью расписано движение автобусов, которые будут курсировать между стадионами. А пока во время гимнастических соревнований второй международной недели, перед выступлением Михаила Воронина, погас свет, и тысячи зрителей, собравшиеся в огромном зале «Арена Мехико», долго сидели в темноте. В нынешнем году подобных накладок было немало. Но ведь и цель-то этих предолимпийских соревнований как раз и состоит в том, чтобы проверить весь громоздкий механизм игр.

Больше всего руководителей оргкомитета, по их словам, волнует сейчас проблема строительства олимпийских баз. Стадионов, залов, бассейнов в Мехико немало, соревнования можно проводить хоть сейчас. Но пока олимпийским требованиям отвечает лишь стадион ацтеков на 130 тысяч зрителей и спортивные залы для фехтования, борьбы и бокса. Чтобы проводить остальные соревнования, следует либо сооружать новые спортивные арены, либо расширять уже существующие. В частности, недавно началась реконструкция олимпийского стадиона. Он сможет принять в 1968 году 100 тысяч зрителей вместо 65 тысяч. На стадионе укладываются специальные синтетические дорожки, состояние которых не будет зависеть от климатических условий, в первую очередь от дождя. Мексиканские бегуны уже опробовали такую дорожку, сооруженную в олимпийском центре, и остались ею довольны.

— На дорожке из тартана,— говорит чемпион Мексики на

Стайеры, готовьтесь!

Вот она, беговая дорожка в Мехико.
Фото автора.



Прошлогодняя поездка в Мехико была как бы разведкой боем. Соревновались мы тогда совершенно неготовые морально и физически к непривычным высокогорным условиям. Но зато нам стало ясно: к выступлению на олимпиаде нужно готовиться на высоте, одной лишь «земной» спортивной формы мало. Вот мы и провели специальную подготовку в условиях, равных мексиканским. Дело это непростое, но на помощь пришла медицина, наука — анализы, электрокардиограмма сердца, биохимия. Много труда вложили сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института физкультуры, чтобы помочь нам, спортсменам.

Пионерам трудно — это истина. По крайней мере теперь ясно, что нам, стайерам равнинных стран, придется выдержать огромное напряжение, чтобы в оставшиеся два года подготовиться к борьбе с высокогорными бегунами. Без такой подготовки на олимпиаде выступать не будет иметь смысла.

Многие авторитеты считают, что XIX Олимпиада окажется дискриминационной для европейцев, но при внимательном анализе прошедшей олимпийской недели можно установить, что перед нами не отвесная стена, но и не ровная плоскость.

Хотя победы на второй олимпийской неделе в Мехико на дистанциях 5 тысяч и 10 тысяч метров достались высокогорному бегуну, но европейцы показали, что не намерены примириться с этим. Я стартовал в Мехико в первый день на 5 тысяч метров и решил бежать на результат, который в прошлом году был бы для меня лишь мечтой (тунисец М. Гаммуди в прошлом году показал время 14 минут 40,6 секунды). Компания собралась сильная: серебряный призер Токио М. Гаммуди, серебряный призер первенства Европы венгр Л. Мечер, американец Д. Янг, победивший в этом году Р. Кларка, загадка соревнований колумбиец А. Мехия (кстати, живущий на высоте 2 500 метров), японцы, немцы и местные мексиканские бегуны.

Первый километр — 2 минуты 50 секунд — это очень быстро. Как трудно лидировать! Если в прошлом году Р. Кларк, М. Гаммуди и я лишь втроем боролись за призовые места, то сейчас даже после 3 тысяч метров, пройденных за 8 минут 37 секунд (в прошлом году — 8 минут 50 секунд), я чувствовал угрозу по крайней мере восьми бегунов.

За шестьсот метров до финиша начала ощущаться высотная болезнь: нечем дышать, тяжелеют ноги. И тут-то резко вырвался вперед Мехия, а за ним, буквально оттирая меня плечом к бровке, проскочил Гаммуди. Но я тоже принял этот бросок: обидно вести всю дистанцию и проиграть на финише. Однако сказалась природная закалка: победил Мехия с результатом 14 минут 20 секунд. Гаммуди

110 метров с барьерами Габриель Ролдан,— спортсмен может «сбросить» со своего лучшего результата несколько десятых секунды, но к такой дорожке нужно приспособиться.

Особые заботы проявляют руководители оргкомитета к сооружению гребного канала в Сочимилько, небольшом городке в 25 километрах от Мехико. Существующий там гребной канал не отвечает международным требованиям. Его нужно расширить по меньшей мере раза в два. К тому же к каналу нет хороших подъездных путей. Между тем наплыв зрителей в Сочимилько ожидается большой. Это один из самых популярных туристских центров, недаром его называют мексиканской Венецией. Город и окрестности изрезаны причудливым лабиринтом каналов.

Группа советских спортсменов после окончания соревнований была приглашена в мексиканскую Венецию. На пристани нас познакомили с представителем профсоюза лодочников Сочимилько. В этот профсоюз могут вступать только владельцы лодок. Работает такой владелец лишь на берегу — ищет клиентов, остальное делают его матросы. Аренда лодки стоит 15—20 песо в час, причем хозяину достается львиная доля, примерно три четверти. Заполучив клиентов, «член профсоюза» ведет их к лодкам, отделанным в стиле XVI—XVII веков. Но некоторые лодки украшены уже эмблемой Олимпийских игр и портретами известных спортсменов.

Побывали мы и на месте будущей олимпийской деревни в районе Педрегаль-де-Сан-Анхел, километрах в пятнадцати от центра Мехико. По мнению врачей, здесь самый чистый воздух. Рядом большой лесной массив, заводов почти нет. В деревне, рассчитанной на 10 тысяч человек, будет сооружено 800 домиков для спортсменов, административные здания, столовые, клуб, кинотеатр, бани с русским и турецким парными отделениями. Кроме того, здесь намечено возвести Дом печати с международным телефонным узлом и всем необходимым для работы 1 200 корреспондентов.

Олимпийские сооружения разбросаны по всему Мехико. А между тем метро в городе нет: Мехико стоит на дне исчезнувшего озера и ежегодно опускается на два-три сантиметра. Основной вид транспорта — автомашины, а поскольку движение на улицах Мехико не отличается московским порядком, то пробки возникают моментально. Один из мексиканских журналистов как-то заметил, что транспорт — это единственное, что может задушить олимпиаду.

Проблема транспорта, пожалуй, одна из наиболее сложных, которые предстоит решить оргкомитету и властям Мехико. Меры, конечно, принимаются. Строительство дорог идет полным ходом. Но удастся ли закончить его в срок? Сейчас в городе есть две автострады, пересекающие Мехико по диагонали. Предполагается сооружение кольцевой дороги.

Интерес к спортивным соревнованиям у мексиканцев большой. Несмотря на высокие цены билетов, встречи боксеров в Мехико собирали больше зрителей, чем коррида. Соревнования гимнастов привлекли к кассам тысячные очереди.

Болельщики мексиканцы неистовые. Минут десять огромный зал «Арена Мехико» гремел аплодисментами после выступления Михаила Воронина. Несколько сот любителей гимнастики остановили автобус, в котором ехали наши спортсменки, и попросили у них автографы. Наташа Кучинская, Лариса Петрик, Лариса Рыженко без устали расписывались на блокнотах и билетах. А толпа не уменьшилась. Полицейские были вынуждены перекрыть движение сразу на нескольких улицах. Образовалась пробка из сотен автомашин. Когда наш автобус трогался, десятки болельщиков с риском оказаться под колесами цеплялись за окна. Приходилось останавливаться. Лишь минут через сорок нам удалось кое-как продолжить путь.

Особенно большую популярность завоевала Кучинская. Кстати, у нас в отеле побывало по меньшей мере с десяток молодых людей, предлагавших свою руку и сердце Наташе. В университете Мехико создана даже группа, изучающая русский язык, девизом которой стали слова: «Будем разговаривать с Наташей по-русски...»

Много забот сейчас у организаторов XIX Олимпийских игр, еще больше надежд. Сейчас, если употреблять лексикон мексиканских марьячес, идет сыгрывание огромного оркестра. Не так-то просто добиться полнейшей гармонии, дирижерам предстоит большая работа, но время еще есть, и можно вполне рассчитывать на то, что через два года олимпийская серенада сильно, ярко, без единой фальшивой ноты зазвучит над Мехико.

был вторым, и это ему далось нелегко: перед стартом тунисец предложил мне и Г. Хлыстову вести бег попеременно, для поддержания высокого темпа, но так и не смог ни разу выйти вперед. Даже колумбиец после финиша пролежал на траве минут десять, что же говорить о других участниках бега! Но вот интересная деталь: буквально через 15—20 минут после финиша самочувствие у меня было уже отличное, а ведь во время бега и особенно в конце возникли очень неприятные ощущения.

Бег на 10 тысяч метров прошел также в высоком темпе. Тон задавали европейский рекордсмен бельгиец Г. Рулантс и знакомый уже нам М. Гаммуди. Настоящая драма разыгралась за 4 круга до финиша. Бросок Рулантса принял лишь Гаммуди, а Мехия начал отставать. Когда его от лидеров уже отделяло 20 метров, все поняли, что это не маневр, не тактика, что колумбиец просто не в состоянии бежать быстрее. Оставалось всего 600 метров, и вот не выдерживает Гаммуди — железный боец. Он буквально переходит на шаг, и опытный бельгиец, увидев все это, сразу сбавил темп, видимо, желая меньшей ценой добиться победы. Но он не видел Мехия, а колумбиец продолжал бежать своим темпом и постепенно приближался к Рулантсу. Оставалось 100 метров, когда Мехия, почувствовав, что может достать бельгийца, резко прибавил скорость. Вот он догнал Рулантса, и тот, потрясенный этой внезапной атакой, прекратил сопротивление. Так никому не известный колумбийский стайер Альваро Мехия стал двукратным победителем олимпийской недели.

Пока последнее слово осталось за представителем высокогорья. Ну что ж, учтем это и будем продолжать готовиться к решающей поездке за океан.

Ю. ТЮРИН,
мастер спорта международного класса



КРУПНЫЙ ПЛАН ВРЕМЕНИ

Киноленты Романа Кармена... Просматривая их, мы как бы снова перечитываем главы биографии нашего государства и века.

Снова будет держать экзамен первая советская автомашина, врезаясь в зыбучую грудь каракумских барханов, мы снова будем махать шапками, приветствуя героев-челюскинцев, вырвавшихся из ледовой тюрьмы Арктики, снова увидим, как лепят земную твердь посреди моря нефтяники Каспия. Мы снова пройдем военными большаками от кровоточащих наших земель до рухнувшего на колени Берлина. И заново переживем торжество справедливости, когда народы вынесут в Нюрнберге свой приговор фашизму. Это пути Истории, это рабочие маршруты ее летописца Романа Кармена, километры пленки его военных репортажей, его «Великой Отечественной», его «Суда народов».

Кармену выпала завидная для летописца доля — бывать в тех точках планеты, которые в учебниках истории нашего столетия станут не географическими названиями, а символами борьбы, высот человеческого духа, лицом времени. Испания, Вьетнам, Куба...

В наши дни ремесло летописца менее всего требует тишины и уединения. Наши «Пимены с кинокамерой» проходят пешком тысячи километров под разрывами бомб и перекрестным огнем станковых пулеметов. И часто это ремесло сродни ратному труду солдата: оно требует не только сосредоточенности — личной храбрости. Кармен — храбрый человек. Храбрый, мужественный, выносливый. Об этом тоже нужно говорить, хотя в список художнических достоинств эти качества вносятся не всегда.

Рейды, начатые в одном конце планеты, выводили его на продолжение дороги — где-нибудь за тридевять земель. Но это был тот же маршрут.

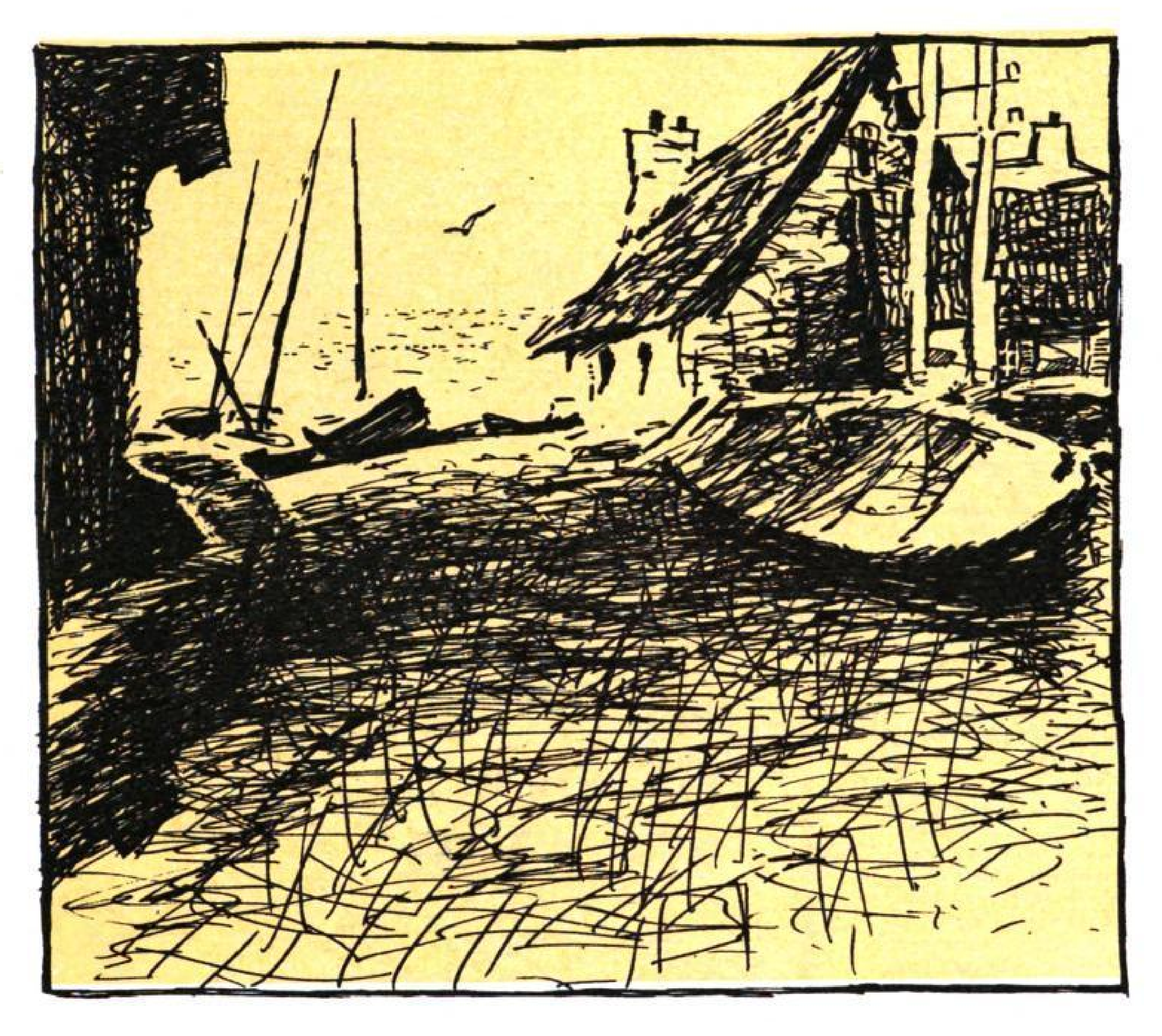
Когда в поверженном Берлине Кармен разбирал архивы немецкой кинохроники, он увидел места первых боев у наших границ, которые снимал сам. Немецкие хроникеры снимали победный марш, он — отступление. Но лица красноармейцев, их подвиги, запечатленные им, уже тогда были залогом того, что немецкие кадры станут трофеями этих красноармейцев.

Когда Кармен делал фильм о Вьетнаме, сражавшемся с французскими колонизаторами, и победа застала его на этой земле, он думал о тяжелых путях борьбы за свободу. Он вспоминал осеннюю ночь 1936 года в затемненном Мадриде. Тогда радиостанции мятежников сообщали, что войска Франко вот-вот возьмут испанскую столицу. Но Кармен продолжал снимать сражения защитников республики и передавал свои репортажи в «Известия».

В профессиональном почерке Кармена есть одна особенность. Он известен своими «крупными планами». Тем, что он называет «заглянуть в глаза человеку». Вспомните знаменитую панораму: по лицам защитников Ленинграда и в ее скорбности вы прочтете предсказание победы. Вспомните лица нефтяников Каспия и строителей новой Кубы — вы узнаете, что нет трудностей, которые заставили бы их отречься от начатого. Кармен умеет видеть тех людей, которые определяют движение Истории, потому он и приходил вместе с Историей к ее гребню.

Мне приятно рассказывать о Кармене — операторе, режиссере, журналисте именно на страницах «Огонька». Ведь здесь в сентябре 1923 года семнадцатилетний сын писателя Лазаря Кармена, замученного белогвардейцами, напечатал свой первый в жизни профессиональный снимок. Первый раз здесь Михаил Кольцов выдал удостоверение на имя Романа Кармена. Там значилось просто — «фотокорреспондент». Жаль, что не существует удостоверений со званием «биограф Времени». Кармен получил бы такое.

Галина **ШЕРГОВА**



Жорж СИМЕНОН

Мегрэ и старая дама

Роман

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРЕДСКАЗАНИЯ АЛЬМАНАХА

Когда Мегрэ прощался со старой дамой, они были в таком добром и веселом расположении духа, что им бы впору похлопывать друг друга по плечу.

Но сохранила ли Валентина свою улыбку, когда за ним захлопнулась дверь? Или же, как это бывает после безудержных взрывов смеха, у нее резко изменилось настроение, когда она осталась наедине с молчаливой мадам Леруа?

Мегрэ был скорее озабочен; он слегка волочил ноги, направляясь в город, к дому доктора Жолли. Вдруг, словно из-под земли, вырос перед ним Кастэн, вернее говоря, инспектор выскочил из кабачка, где учредил наблюдательный пункт и уже долгое время ждал комиссара, играя в карты.

— Я был у доктора, патрон. Роза ничем не была больна. Ее распирало от здоровья. И все же она время от времени приходила к доктору, а тот, чтобы доставить ей удовольствие, прописывал безвредные лекарства...

— Какие же?..

— Гормоны, например. Она сама их требовала, потому что все время толковала о своих гландах.

Кастэн, шагая рядом с комиссаром, спросил удивленно:

— И вы идете туда?

— Мне нужно задать доктору только один вопрос. Подожди меня.

Он обратился на «ты» к инспектору, хотя тот не работал в его отделе. Это тоже кое-что значило. Показался большой квадратный дом с увитыми плющом стенами, с садом, похожим на небольшой парк.

— Здесь он живет,— сказал Кастэн.— Но принимает больных во флигеле слева.

Флигель походил на ангар. Должно быть, здесь не обошлось без мадам Жолли, которая терпеть не могла больных и запаха лекарств,— вот она и выставила все это из своего дома.

— Постарайтесь, чтобы он узнал вас сразу, как откроется дверь, иначе придется ждать несколько часов.

Беленные известью стены. Вокруг на скамейках женщины, дети, старики. Не меньше двенадцати человек ждало очереди. Мальчишка с большой повязкой на голове, женщина в шали тщетно пытается утихомирить младенца, которого держит на руках. Все взгляды устремлены к двери в глубине, за которой слышатся голоса. Мегрэ повезло: дверь отворилась почти тотчас же, вышла толстая крестьянка. Доктор оглядел комнату и заметил комиссара.

— Входите, прошу вас. Извините, одну только минуту.

Он сосчитал пациентов, отделяя плевелы от зерен, потом указал на трех или четырех человек:

— Вас я сегодня не смогу принять. Приходите послезавтра в то же время.

И закрыл дверь.

— Пройдемте в дом. Вы что-нибудь выпьете?

— У меня к вам только один вопрос.

— Но я очень рад видеть вас и не отпущу вас так быстро.

Он раскрыл боковую дверь и через сад повел комиссара к большому квадратному дому.

— Жаль, что именно сегодня жена уехала в Гавр. Она была бы счастлива познакомиться с вами!

Дом был богатый, комфортабельный, немного сумрачный из-за больших деревьев в саду.

— У меня только что был инспектор, и я ему сказал, что Роза была абсолютно здорова и могла бы дожить до ста лет. Редко мне приходилось встречать такую здоровую семью, как эти Трошю. Вам самому надо бы видеть эту крепышку.

— Она не была беременной?

— Что за странный вопрос? Что угодно мог бы я думать, только не это. Она была у меня совсем недавно и ни о чем подобном даже не заикнулась. Месяца три назад я ее обследовал всесторонне и могу поклясться, что к тому времени она не жила еще половой жизнью. Что я могу вам предложить, господин комиссар?

— Благодарю, ничего. Я только что от Валентины и там был вынужден выпить больше, чем мне хотелось бы.

— Как она себя чувствует? Вот вам еще одна — завидное здоровье! Могла бы вполне обходиться без докторов. Очаровательная женщина, вы не находите? Я знал ее еще до ее второго брака, даже до первого. Я и роды принимал у нее.

— Вы находите ее вполне нормальной?

— Вы имеете в виду ее разум? Вероятно, вы спрашиваете потому, что она выставляет напоказ свои причуды? Поосторожнее с такими людьми, комиссар. Как правило, это самые рассудительные головы. Она-то отлично знает, что делает! И всегда это знала. Она любит свой маленький мирок, свой домик, свой комфорт. Можно ли упрекать ее в этом? Словом, я за нее не беспокоюсь.

— Ну, а Роза?

Мегрэ не забывал о больных, которые ждали,— о женщине с младенцем на руках, о мальчике с забинтованной головой. Но доктор, видимо, не торопился. Он закурил сигару, поудобнее устроился в кресле, словно готовясь к длинному разговору.

— Во Франции тысячи таких девушек, как Роза. Из какой она семьи, вам известно. Вероятно, проучилась в деревенской школе года три, не больше. Потом случайно попала в другое окружение. Там с ней чересчур много разговаривали. Слишком много читала сама. Знаете, о чем она спросила меня как-то, придя ко мне на прием? Что я думаю о теории Фрейда! Она все приставала ко мне: в порядке ли у нее железы внутренней секреции. Да разве все упомнишь? Я делал вид, что принимаю ее всерьез. Выслушивал ее, прописывал лекарства, которые были безвредны, как вода.

— Бывала ли она печальной?

— Никогда. Напротив, она была веселого нрава, казалась беззаботной. Но временами она ударялась в эти свои размышления, как она это называла, и тогда вдруг становилась очень серьезной. Должно быть, у Валентины она откопала Достоевского и прочла всего — от корки до корки.

— Из лекарств, что вы прописывали ей, ни одно не содержало в себе мышьяка?

— Ни одно, будьте уверены.

— Благодарю вас, доктор.

— Вы уже уходите? Мне так хотелось, чтобы вы остались подольше.

— Наверное, я еще побываю у вас.

— Ну, если вы обещаете...

Доктор вздохнул с досадой: ему, видимо, не хотелось возвращаться к больным.

Кастэн ждал на улице.

— Что вы сейчас собираетесь делать?

— Съезжу в Ипор.

— Подбросить вас на моей «симке»?

— Нет, не надо. Позвони-ка лучше жене и предупреди ее, что ты сегодня можешь вернуться домой позже обычного. А то и вовсе ночевать дома не будешь.

— Она к этому привыкла. Как же вы туда доберетесь? В это время автобусы уже не ходят. Не пешком же вы собираетесь идти.

— Я возьму такси.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 42—48.

— Если одно из двух такси свободно. Ведь здесь, в Этрета, всего два такси. Стоянка вон там, на углу улицы. А мне чем заняться это время?

— Поищи Тео Бессона.

— Ну, это не слишком трудно. Стоит только обойти кабачки. А потом?

— Это все. Последи за ним.

— Незаметно?

— Ничего не случится, если он тебя и заметит. Главное, не упускай его. Если он выедет из города на машине, у тебя есть твоя «симка». Поставь ее неподалеку от его авто. В этом случае черкни мне пару слов и оставь записку у меня в отеле. Не думаю, чтобы он мог далеко уехать.

— Если вы едете повидать семейство Трошю, желаю вам приятно провести время.

Солнце уже начало клониться к закату, когда Мегрэ выезжал из города на такси, шофер которого то и дело оборачивался к нему, чтобы поговорить. Комиссар, казалось, был в полудремоте, лишь время от времени делал он затяжку из своей трубки. Сельский пейзаж приобретал темно-зеленый оттенок, на фермах уже зажигались огоньки, в загонах мычали коровы.

Ипор оказался рыбацкой деревней, в которой, как и повсюду на побережье, было несколько каменных домов, где сдавались комнаты для приезжих. Шофер спросил, как ему проехать,— он не знал семьи Трошю. Наконец он остановился перед одноэтажным домом, на ограде которого сушились сети.

— Подождать вас? — спросил шофер.

— Да, пожалуйста.

В окне смутно обрисовалось чье-то лицо. Мегрэ постучал в дверь, из-за которой доносилось звяканье вилок, стало быть, семейство было за столом.

Дверь ему открыл Анри, рот у него был полон, и он молча смотрел на комиссара, не приглашая его войти. В глубине комнаты горел огонь в очаге, над которым был подвешен объемистый котел. Рядом стояла печь, великолепная, почти новая печь, но можно было догадаться, что это предмет роскоши, которым пользуются лишь в редких случаях.

— Могу я поговорить с вашим отцом?

Старик тоже видел Мегрэ, но пока молчал. Их было пятеро или шестеро вокруг длинного стола без скатерти; перед ними дымились тарелки, а в центре стояло огромное блюдо — картошка и треска в сметане. Мать повернулась спиной к двери. Маленький русоволосый мальчонка вертел головой, стараясь увидеть пришельца.

— Впусти его, Анри,— проговорил наконец старик.

Вытирая губы рукавом, он поднимался медленно, с почти торжественной значительностью. Казалось, он говорил всему своему семейству: «Не пугайтесь: я здесь, и ничего с вами не случится».

Анри не сел на место, а остался стоять возле железной кровати, над которой висела лубочная картинка, изображавшая «Анжелюс» Милле.

— Вы, наверное, начальник того, кто уже был у нас?

— Я комиссар Мегрэ.

— Что вам еще от нас надо?

У него была выразительная голова моряка, какие любят художники-самоучки. Даже дома он не расставался со своей морской фуражкой. Он был одинаков в высоту и в ширину, и синий свитер подчеркивал его могучие плечи.

— Я пытаюсь установить, кто убил...

— ...мою дочь! — закончил Трошю, как бы уточняя этим, что убили именно его дочь, а не чью-то еще.

— Совершенно верно. Очень сожалею, что вынужден был побеспокоить вас. Я не предполагал, что застану вас за столом.

— А в какое время едят суп у вас? Наверняка позже, как у людей, которые не поднимаются в половине пятого утра.

— Сделайте одолжение, продолжайте ужинать.

— Я уже поел.

Остальные продолжали есть молча, степенно, не переставая, однако, разглядывать Мегрэ, не пропуская мимо ушей ни одного слова отца.

Анри закурил сигарету, возможно, это было вызовом. Комиссар, которому все еще не предложили сесть, выглядел огромным в этой комнате с низким потолком, откуда свешивались домашние колбасы.

В комнате были две кровати, одна из них детская, через открытую дверь в другой комнате виднелись еще три. Но рукомойника не было — значит, все умывались на улице у колодца.

— Вы забрали вещи дочери?

— Это мое право, так ведь?

— Я вас не упрекаю. Просто моя задача облегчилась бы, если бы я знал, что было среди этих вещей.

Трошю обернулся к жене, и Мегрэ наконец увидел ее лицо. Она выглядела молодо для матери такой большой семьи, таких взрослых детей, как Роза и Анри. Она была худощава, одета в черное платье, и на груди у нее висел медальон.

Родители переглядывались, дети заерзали на скамьях.

— Видите ли, мы уже их поделили.

— В доме уже не все ее вещи?

— Жанна, она работает в Гавре, увезла ее платья и белье, они ей впору. Вот туфли она не взяла, туфли ей малы.

— Теперь они мои! — заявила девочка лет четырнадцати, с крупными рыжими веснушками.

— Помолчи!

— Меня интересуют не столько вещи, сколько разные мелочи. Писем у нее не было?

На этот раз родители посмотрели на Анри, но тот, казалось, не слишком-то был расположен отвечать. Мегрэ повторил свой вопрос.

— Нет,— процедил Анри.

— Ни тетрадей, ни записей?

— Я нашел только альманах.

— Какой альманах?

Анри нехотя пошел в другую комнату. Мегрэ припоминал теперь, что в юности, когда он сам жил в деревне, ему приходилось видеть такие альманахи, плохо отпечатанные, на скверной бумаге, снабженные примитивными иллюстрациями. Его удивило, что такие издания еще существуют.

На каждый день месяца там было предсказание, например:

«17 августа. Меланхолия».

«18 августа. Ничего не предпринимать. Не отправляться в дорогу».

«19 августа. Утро будет радостным, но берегись вечера».

Мегрэ не улыбался, он с серьезным видом листал поданную ему книжицу, которую, однако, читали и перечитывали бесконечное число раз. Но ничего особенного он не обнаружил ни в сентябре, ни в конце августа.

— Других бумаг вы не находили?

Тут мать решилась встать и, в свою очередь, взять слово. Чувствовалось, что вся семья стоит за ней горой, заранее аплодируя ее ответу на вопрос Мегрэ.

— Вы в самом деле думаете, что вам надо было приезжать именно сюда и задавать вопросы нам? Я хочу, чтобы мне в конце концов ответили: мою дочь убили или не мою? А раз это моя дочь, тогда, мне кажется, не нам следует докучать вопросами, а тем, кого пытаются оставить в покое!

Обстановка словно бы разрядилась. Четырнадцатилетняя девочка даже хлопнула в ладоши.

— И все это потому, что мы бедные люди,— продолжала мать,— и потому, что иные, которые изображают из себя...

— Могу вас заверить, мадам, что я допрашиваю одинаково и богатых и бедных.

— И тех, кто притворяется богачами? И тех, кто разыгрывает из себя знатных дам, хотя родом невесть из каких, намного похуже нашего?

Мегрэ не отвечал, полагая, что она будет говорить еще. И она продолжала, оглядываясь вокруг, словно набираясь храбрости:

— А знаете вы, кто она такая, эта женщина? Я вам сейчас все выложу. Когда моя бедная матушка вышла замуж, то парень, который стал ее мужем, долгое время был влюблен в другую. Эта другая была мать Валентины. Она жила по соседству с моей матерью, почти дверь в дверь. Ну так вот. Родители этого парня и слышать не захотели, чтобы он женился на этой девице. Я это говорю, чтобы вы поняли, что это была за девица...

Если Мегрэ хорошо понял, то мать Валентины была девицей, на которой приличные люди не женятся.

— И все же она вышла замуж, скажете вы? Да. Но она не сумела себе найти никого, кроме пропойцы, кроме бездельника. Так вот эти двое и породили на свет вашу мадам!

Отец Трошю достал из кармана короткую трубку и набил ее табаком из кисета, сделанного из свиного пузыря.

— Я никогда не хотела, чтобы моя дочь работала у женщины, которая, может быть, даже хуже своей матери. Если б меня послушали...

Взгляд, полный упрека в спину мужа. По всей видимости, именно он в свое время разрешил Розе пойти в горничные к Валентине.

— Она к тому же еще и дрянь! Не улыбайтесь. Я знаю, что говорю. Может, ей и удалось провести вас сладкими речами. Но я еще раз повторяю: она дрянь, всем она завидует, мою Розу всегда ненавидела.

— Почему же ваша дочь оставалась у нее?

— Я и сама не знаю. До сих пор не знаю. Ведь и Роза тоже не любила ее.

— Она вам это говорила?

— Ничего она мне не говорила. Она никогда не говорила о своих хозяевах. Последнее время она с нами почти не разговаривала. Мы не были для нее достаточно хорошими. Вы понимаете? Вот что сделала эта женщина. Она научила ее презирать своих родных, этого я ей никогда не прощу. А теперь, когда Роза умерла, та явилась на похороны покрасоваться, хотя место ей в тюрьме.

Трошю поглядел на жену с таким видом, словно собирался утихомирить ее.

— Во всяком случае, не здесь вы должны вести свои розыски! — заключила она с силой.

— Вы позволите мне сказать одно слово?

— Пусть скажет,— вмешался Анри.

— В полиции у нас нет волшебников. Как же мы найдем преступника, если нам неизвестно, почему было совершено преступление? Он говорил спокойно, вежливо.

— Ваша дочь была отравлена. Кем? Возможно, я узнаю, если мне удастся установить, почему она была отравлена.

— Я же толкую вам, что эта женщина ее ненавидела.

— Но этого недостаточно. Не забывайте, что убийство — преступление очень серьезное. Убийца ставит на карту свою жизнь и уж во всяком случае свободу.

— Пройдохи не многим рискуют.

— Думаю, ваш сын поймет меня, если я добавлю, что с вашей дочерью встречались и некоторые другие люди.

Анри, казалось, смутился.

— Возможно, есть и еще кто-нибудь, о котором мы не знаем. Вот почему я надеялся осмотреть ее вещи. Среди них могли быть письма, адреса, какие-нибудь мелкие подарки.

При этих словах воцарилась тишина, все переглянулись. Они словно спрашивали друг друга. Наконец мать сказала все еще с некоторым недоверием, обращаясь к мужу:

— Ты покажешь ему кольцо?

Трошю как бы нехотя вытащил из кармана брюк большой старый кошелек со множеством отделений, которые закрывались на кнопки. Оттуда он извлек какой-то предмет, обернутый в шелковистую бумагу, и протянул его комиссару. Мегрэ увидел старинное кольцо с зеленым камнем в оправе.

— Я полагаю, у вашей дочери были и другие украшения?

— У Розы была полная коробка всяких штучек, которые она покупала на рынке в Фекане. Их уже поделили. Остался только...

Не произнося ни слова, девочка метнулась в другую комнату и принесла серебряный браслет, украшенный синими камешками из фарфора.

— Это моя доля! — сказала она с гордостью. Все эти колечки, сувениры от первого причастия, медальоны стоили гроши.

— Скажите, а это кольцо было вместе с другими?

— Нет.

Рыбак посмотрел на жену, которая все еще колебалась.

— Я нашел его в глубине башмака,— сказал он.— Кольцо было завернуто в кусок шелковистой бумаги. Это были ее праздничные башмаки, она надевала их всего раза два.

Света из очага было недостаточно для того, чтобы оценить кольцо, да Мегрэ и не был знатоком драгоценных камней. Но было очевидно, что эта вещица совсем иного качества, чем те пустячки, о которых шла речь только что.

— Я и говорю,— произнес наконец Трошю, который слегка покраснел.— Эта штуковина беспокоила меня. Вчера я был в Фекане и там показал кольцо ювелиру, у которого мы купили наши обручальные кольца. Я даже записал на бумажке название — это изумруд. Он объяснил, что камень стоит столько, сколько хорошая шхуна, и что, если я нашел это кольцо, лучше отнести его в полицию.

Мегрэ повернулся к Анри.

— Так, значит, из-за этого? — спросил он его.

Анри молча кивнул. Мать насторожилась:

— Что это вы скрытничаете? Вы уже встречались, что ли?

— Пожалуй, лучше объяснить вам кое-что. Я встретил вашего сына в компании с Тео Бессоном. Меня это удивило, но сейчас я понял. Ведь Тео два-три раза встречался с Розой.

— Это правда? — спросила мать у Анри.

— Правда.

— Ты знал об этом и ничего не сказал?

— Я встретился с ним, чтобы узнать, он ли дал сестре кольцо и вообще что было между ними.

— Что же он ответил?

— Он попросил меня показать ему кольцо. Я не мог этого сделать, потому что оно было в кармане у отца. Я описал ему, какое оно. Тогда я еще не знал, что это изумруд, но он сразу же произнес это слово.

— Так это он подарил ей?

— Нет. Он поклялся, что никогда не делал ей подарков. Он объяснил мне, что для него она была только товарищем, ему приятно было разговаривать с ней, потому что она была умной.

— А ты поверил? Ты можешь верить тому, что говорят эти люди?

Анри взглянул на комиссара и продолжал:

— Он и сам пытается узнать правду о смерти Розы и говорил, что полиция все равно не сумеет дознаться. И еще он мне сказал,— у Анри дрогнули губы,— что это Валентина пригласила вас сюда и будто вы ей служите.

— Я никому не служу.

— Я только повторяю его слова.

— Ты уверен, Анри, что не он дал кольцо твоей сестре? — спросил отец.

— Мне показалось, что он говорит искренне. Он добавил, что сам он небогат и, если камень настоящий, то, даже продав свой автомобиль, не смог бы купить такое кольцо.

— Откуда же, по мнению Тео, взялось это кольцо? — спросил Мегрэ, в свою очередь.

— Он этого не знает.

— Роза когда-нибудь ездила в Париж?

— Никогда в жизни там не была.

— И я не была,— добавила мать.— Я и не желаю туда ездить. Хватит с меня того, что иногда приходится бывать в Гавре.

— А в Гавре Роза бывала?

— Иногда ездила к сестре.

— И в Дьеппе бывала?

— Не думаю. Зачем бы ей понадобилось ездить в Дьепп?

— Дело в том,— снова вмешалась мадам Трошю,— что последнее время мы почти ничего не знали о ней. Когда она навещала нас, это было похоже на шторм — она поносила нас за все, что мы делаем, за то, как и что говорим. Да и сама говорила уже не так, как мы ее учили, а все какие-то непонятные слова...

— Была ли она привязана к Валентине?

— Вы хотите сказать: любила ли она ее? Помоему, она ее ненавидела. Я поняла это по некоторым словам, которые вырвались у Розы.

— Какие же это слова?

— Сейчас я уже не могу припомнить, но тогда они меня поразили.

— Почему же все-таки она продолжала у нее работать?

— Я сама спрашивала ее об этом. Она не отвечала.

Трошю решился наконец сделать тот жест, который инспектор Кастэн предвидел как заключение визита Мегрэ.

— Мы вас ничем не угостили. Может, выпьете стаканчик сидра? Я не предлагаю вам спиртного, ведь вы еще не ужинали.

Он вышел, чтобы налить сидра из бочки,

вернулся с кувшином из голубой глины, наполненным до краев, достал из ящика полотенце и протер два стакана.

— Можете ли доверить мне это кольцо на два дня?

— Оно не наше. Я не считаю даже, что оно когда-нибудь принадлежало моей дочери. Но если вы его возьмете с собой, оставьте мне расписку.

Мегрэ написал расписку на краешке стола, который для него очистили. Он выпил сидра, который был не совсем еще готов, но отозвался о напитке самым лестным образом,— Трошю сам делал его каждую осень.

— Поверьте мне,— говорила мать, провожая комиссара до двери,— именно Розу и хотели убить. И если стараются заставить поверить в другое, значит, есть для этого важные причины.

— Надеюсь, мы скоро узнаем об этом.

— Вы думаете, что скоро?

— Возможно, даже быстрее, чем вы думаете.

Кольцо, завернутое в шелковистую бумагу, он сунул в жилетный карман. Бросил взгляд на детскую кроватку, в которой, наверно, спала еще маленькая Роза, заглянул в комнату, где она, став старше, укладывалась спать вместе с сестрами, на очаг, перед которым она, сидя на корточках, готовила суп.

Если он и не был больше врагом, он все же оставался чужаком: они смотрели, как он уходит, и в их молчании было еще много невысказанного. Только Анри провожал комиссара до машины.

— Вам нетрудно будет подвезти меня до Этрета?

— С удовольствием.

— Я только возьму фуражку и мешок.

Он слышал, как Анри объяснял своим:

— Я подъеду в машине комиссара. Из Этрета отправлюсь прямо в Фекан и там на судно.

Он вернулся, неся с собой мешок из парусины с рыбацкими принадлежностями. Машина тронулась. Обернувшись, Мегрэ успел еще заметить силуэты людей на фоне раскрытой двери.

— Вы думаете, он меня обманул? — спросил Анри, закуривая сигарету.

От его одежды в машине терпко запахло морем.

— Не знаю.

— Вы покажете ему кольцо?

— Возможно.

— Когда я встретился с ним в первый раз, я хотел разбить ему рожу.

— Я это понял. Меня только интересует, как ему удалось переубедить вас.

Анри задумался.

— Я этого тоже не понимаю. Он оказался не таким, каким я себе его представлял. И я уверен, что он не пытался переспать с моей сестрой.

— А другие пытались?

— Да, сын Бабёфа, когда ей было семнадцать лет. Но, клянусь вам, он и на том свете об этом вспомнит.

— Роза когда-нибудь говорила, что хочет выйти замуж?

— За кого бы это?

Он, видимо, тоже был убежден, что в округе не было пары его сестре.

— Вы что-то хотели сказать мне?

— Нет.

— Зачем же поехали со мной?

— Не знаю. Мне захотелось еще раз увидеть его.

— Чтобы еще раз поговорить с ним о кольце?

— Об этом и вообще обо всем. Я не такой ученый человек, как вы, но я чувствую, что не все тут ясно.

— Вы надеетесь найти его в том самом кабачке, где я вас встречал?

— Или там, или еще где-нибудь. Я хотел бы выйти из машины раньше вас.

Он действительно вышел при самом въезде в город и удалился, закинув за спину мешок, едва пробормотав слова благодарности.

Мегрэ заехал сначала к себе в отель, где не оказалось для него никакой записки, потом отправился в бар, в казино, где работал Чарли.

— Не видел моего инспектора? — спросил Мегрэ.

— Он заходил после пяти.

Чарли глянул на часы, которые показывали девять, и добавил:

— Давно уже.

— А Тео Бессона?

— Они пришли и ушли один вслед за другим.

Мегрэ взглядом показал, что понял.

— Что-нибудь выпьете?

— Нет, спасибо.

Анри, видимо, зря приехал в Этрета, так как Мегрэ нашел Кастэна на посту перед Приморской гостиницей.

— Он у себя?

— Четверть часа назад поднялся к себе в комнату.

Инспектор показал на свет в окне третьего этажа.

Продолжение следует.

Успешная посадка советской автоматической станции «Луна-9» на спутник Земли нашла отражение в почтовых марках многих стран мира. В советской филателии этот факт был в свое время отмечен специальной надпечаткой на одной из космических марок. Сейчас Министерство связи СССР выпустило серию из трех марок, посвященных этому знаменательному событию. Марки, отпечатанные на одном листе, разделены перфорацией. Автор серии — художник Е. Анискин.

М. МИЛЬКИН



КРОССВОРД

По горизонтали:

5. Главный член предложения. 6. Образное определение. 8. Озеро в Новгородской области. 10. Персонаж пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад». 11. Материк. 13. Аргентинская писательница. 15. Маршрут регулярных полетов транспортной авиации. 17. Цветок. 18. Ветер, периодически меняющий свое направление. 20. Остров в Эгейском море. 22. Аттракцион. 23. Звездное скопление в созвездии Рака. 24. Порт в низовьях Эльбы. 25. Роман О. Гончара. 26. Плавучая пристань.

По вертикали:

1. Опера Д. Пуччини. 2. Стихотворная форма. 3. Народный писатель Латвийской ССР. 4. Река в Красноярском крае. 7. Гимнастический снаряд. 9. Город в Кузбассе. 12. Руль судна. 14. Небольшая поляна. 15. Дом в виде башни в Древней Руси. 16. Старинная русская монета. 19. Лампа для светолечения. 21. Спортивная лодка. 22. Автор балета «Семь красавиц». 23. Хищное животное.

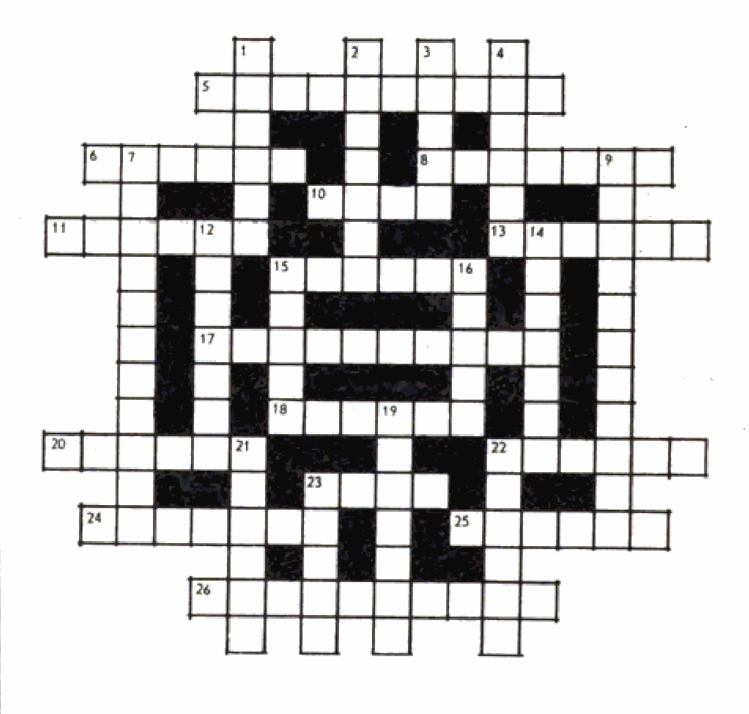
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 48

По горизонтали:

2. Ямкун. 6. Флуер. 7. «Егерь». 8. Лепешинская. 11. Компас. 13. Артист. 15. Колибри. 19. Софокл. 20. Терцет. 21. Америка. 24. Мениск. 26. «Марица». 28. Бетельгейзе. 29. Манок. 30. Наина. 31. Асама.

По вертикали:

1. Турнепс. 2. Ярошенко. 3. Кармин. 4. Несессер. 5. Медиана. 9. Смородина. 10. Симметрия. 12. Автобус. 14. Рубрика. 15. Колба. 16. Литке. 17. Бурки. 18. Истра. 22. Макеевка. 23. Каренина. 25. Кремень. 26. Мезонин. 27. Вьедма.



На первой странице обложки: Молодые рабочие завода «Красное Сормово», комсомольцы арматурного цеха Александр Черняев, Валя Юрова, Рудольф Корнишин, Нина Кошелева, Галина Холодилова, Саша Шабашов.
Фото А. Рубашкина.

На последней странице обложки: Шайба в игре.
Фото А. Бочинина.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.
Редакционная коллегия: И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), И. Ф. СТАДНЮК (заместитель главного редактора), Л. Л. СТЕПАНОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.
Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются. Оформление А. КОВАЛЕВА.



— Товарищ судья, вам не кажется, что зрители возвратили нам не шайбу!

Рисунок В. Тильмана.



— А не купить ли нам кооперативную берлогу!

Рисунок В. Тильмана.



— Вот он, мой красавец.

Рисунок А. Грунина.



Торжественное открытие молодежного кафе.

Рисунок А. Грунина.



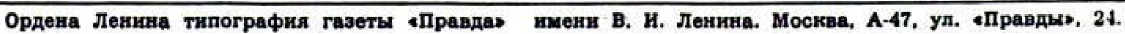
Командированные идут через опасную зону.

Рисунок В. Воеводина.



— Главное — гаража ей не надо.

Рисунок Г. и В. Караваевых.



Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-37-61; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 0-46-98; Литературы — Д 3-31-10; Информации — Д 3-32-45; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформления — Д 3-38-36; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 10765. Подписано к печати 30/XI 1966 г. Формат бум. 70×108 1/8. 2,5 бум. л. — 6,85 печ. л.
Тираж 1 990 000. Изд. № 2156 Заказ № 2835.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.




9 18
Цена номера 30 коп.
Индекс 70663